



ДОМ
НА КРАЮ
НОЧИ
КЭТРИН БЭННЕР



КНИГА ИЗДАНА В 22 СТРАНАХ

Кэтрин Бэннер
Дом на краю ночи

«Фантом Пресс»

2016

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)

Бэннер К.

Дом на краю ночи / К. Бэннер — «Фантом Пресс», 2016

ISBN 978-5-86471-763-9

Начало XX века. Остров Кастелламаре затерялся в Средиземном море, это забытый богом уголок, где так легко найти прибежище от волнений большого мира. В центре острова, на самой вершине стоит старый дом, когда-то здесь был бар «Дом на краю ночи», куда слетались все островные новости, сплетни и слухи. Но уже много лет дом этот заброшен. Но однажды на острове появляется чужак – доктор, и с этого момента у «Дома на краю ночи» начинается новая история. Тихой средиземной ночью, когда в небе сияют звезды, а воздух напоен запахом базилика и тимьяна, население острова увеличится: местный граф и пришлый доктор ждут наследников. История семейства доктора Амедео окажется бурной, полной тайн, испытаний, жертв и любви. «Дом на краю ночи» – чарующая сага о четырех поколениях, которые живут и любят на забытом острове у берегов Италии. В романе соединились ироничная романтика, магический реализм, сказки и факты, история любви длиною в жизнь и история двадцатого века. Один из главных героев книги – сам остров Кастелламаре, скалы которого таят удивительные легенды. Книга уже вышла или вот-вот выйдет более чем в 20 странах.

УДК 821.111

ББК 84(4Вел)

ISBN 978-5-86471-763-9

© Бэннер К., 2016
© Фантом Пресс, 2016

Содержание

Часть первая	7
I	8
II	13
III	18
IV	27
V	36
Часть вторая	44
I	45
II	52
III	58
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Кэтрин Бэннер

Дом на краю ночи

*Но острова могут существовать,
Только если мы любили там.*
Дерек Уолкотт

THE HOUSE AT THE EDGE OF NIGHT by CATHERINE BANNER

Copyright © 2016 by Catherine Banner

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме возможны только с разрешения владельца авторских прав.

Книга издана с любезного согласия автора и при содействии Литературного агентства Эндрю Нюрнберга

© Нора и Владимир Медведевы, перевод, 2017

© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2017

Часть первая Собиратель историй 1914–1921

* * *

Некогда над островом Кастелламаре тяготело проклятье плача. Он зарождался в пещерах у моря, а так как жители острова строили свои дома из камней прибрежных скал, сотворенных из лавы вулкана, то вскоре плач проникал в дома, звучал на улицах, и даже городская арка по ночам стонала, словно брошенная невеста.

Растревоженные этими рыданиями, жители острова ссорились и затевали свары. Отцы не ладили с сыновьями, матери отвергали дочерей, сосед шел против соседа. Словом, не было на этом острове мира.

Так длилось немало лет, пока однажды осенью не произошло большое землетрясение. Жители проснулись от страшных толчков, которые поднимались из самого сердца острова. Из мостовой вылетали булыжники, и посуда гремела в шкафах. Дома дрожали словно ricotta¹. К утру все жилища были разрушены до основания.

И пока повергнутые камни стонали и рыдали, жители острова собрались, чтобы решить, что же им делать дальше.

В тот день юной дочери крестьянина по имени Агата явилась Мадонна, и девочка поняла, как избавиться от проклятья. «Печаль просочилась в камни острова и наполнила их, – сказала она. – Мы должны разобрать руины и заново выстроить город. Когда этот тяжкий труд будет закончен, проклятье плача будет с нас снято».

И жители острова камень за камнем вновь отстроили свой город.

Из старой легенды об острове, в версии, рассказанной мне Пиной Веллой. Впервые записано во время Фестиваля святой Агаты в 1914 году.

¹ Мягкий сыр (ит.).

I

Он проснулся от того, что кто-то скребся в оконные ставни. Значит, он все-таки спал.

– Ребенок на подходе! – кричали с улицы. – *Signor il dottore!*²

Не разобравшись, он решил, что речь идет об их с женой ребенке. Он закутался в простыню и подбежал к окну, прежде чем сообразил, что жена спит рядом. За стеклом лунной маячило лицо крестьянина Риццу.

– Чей ребенок? – спросил доктор.

– Синьора графа. Чей же еще?

Стараясь не разбудить жену, он направился к двери. Лунный свет придавал двору странную отчетливость. Даже Риццу не был на себя похож. Воскресный пиджак и галстук сидели на нем колом, будто их прибили гвоздями.

– Это ошибка, – произнес доктор. – Я не должен принимать роды у графини.

– Но мне сам *signor il conte*³ приказал вас привезти.

– Меня не вызывали к *la contessa*⁴ принимать роды. Ее беременность наблюдала акушерка. Д'Исанту, должно быть, имел в виду, чтобы ты привез ее.

– Нет-нет, акушерка уже там. Граф требует вас. Он сказал, это срочно. – Риццу так и распирало от важности его миссии. – Так вы едете? Прямо сейчас?

– Но моя жена вот-вот родит. Я бы не хотел оставлять ее без крайних на то причин.

Однако Риццу не отступался.

– *La contessa* уже рождает, прямо сейчас, – настаивал он. – Я не думаю, что этого можно избежать, *dottore*.

– А что, акушерка одна не справится?

– Нет, *dottore*. Это... трудные роды. Вы нужны, потому что ребенок не выйдет без этих ваших штук навряд ли сахарных щипцов. – Риццу недовольно поджал губы из-за необходимости произносить подобное. Сам он ни разу не присутствовал при появлении на свет своих девяти-рых детей, предпочитая считать, что их лепят из глины, словно Адама и Еву. – Так вы едете? – спросил он снова.

Доктор выругался про себя, понимая, что деваться некуда.

– Только возьму пальто и шляпу, – сказал он. – Я догоню тебя через пять минут. Ты на своей повозке или мы пойдем пешком?

– Нет, что вы, *dottore*? Конечно, я приехал на повозке.

– Будь наготове.

Доктор одевался в темноте. Часы показывали без четверти два. Он уложил инструменты: щипцы, хирургические ножницы, набор шприцев – все это он приготовил для родов своей жены, включая морфий и магнезию на случай экстренных обстоятельств. Собравшись, он разбудил жену.

– Как часто ты просыпаешься от схваток, *amore*?⁵ – спросил он. – У жены графа начались роды раньше времени – будь она неладна! Меня вызывают.

Она нахмурилась спросонья.

– Пока еще нечасто... я хочу спать...

² Синьор доктор! (*ит.*)

³ Синьор граф (*ит.*)

⁴ Графиня (*ит.*)

⁵ Здесь: любовь моя (*ит.*).

Бог даст, он примет ребенка графини и успеет вернуться до родов жены. Доктор перебежал через площадь к дому старой Джезуины, которая была местной повитухой, пока не начала слепнуть.

– Синьора Джезуина, *mi dispiace*⁶, – сказал он. – Вы не побудете с моей женой? Меня вызывают к другому пациенту, а у моей жены уже начались схватки.

– Что за другой пациент? – спросила Джезуина. – Пресвятая Агата! Не иначе кто-то отдает Богу душу на этом проклятом острове, раз вам нужно оставлять жену в такое время?

– У графини преждевременные роды, возникли осложнения – я везу щипцы.

– Так это жена графа? И вас вызывают на роды?

– Да, *signora*.

– Я слышала, что у вас имеются причины не принимать роды у синьоры графини. – И старуха многозначительно замолчала.

– Что вы слышали, синьора Джезуина? – Доктор с трудом подавлял раздражение.

– Люди болтают.

– Так вы посидите с ней или нет?

Джезуина опомнилась:

– Да, пресвятая Агата, конечно, посижу. Ты где, сынок? Дай-ка я за тебя возьмусь, а то ведь недолго споткнуться об эти чертовы камни.

Повитуха действительно была почти слепая. Ковыляя за доктором через площадь, она держалась за его пальто. Войдя в спальню, старая Джезуина тут же уселась в углу на стуле. Доктор понадеялся, что его жена, проснувшись и увидев старуху, не испугается.

Был уже третий час. Он поцеловал жену в лоб и вышел из спальни.

Все еще чертыхаясь, он отправился на поиски Риццу и его повозки. Проклятый граф и его женушка. Она отказалась от его услуг, пока была беременна, и предпочла помощь акушерки. И зачем теперь срочно вызывать его на виллу в два часа ночи? Все ее осложнение, скорее всего, сведется к перекрученной пуповине или какой-нибудь слишком болезненной схватке, и никакой нужды в щипцах вовсе нет. Его жена осталась одна, а он тащится через весь город по графскому вызову.

Риццу ждал, держа в руках шляпу – торжественно, будто на мессе. Они забрались в запряженную осликом повозку. Борта этого странного желто-зеленого средства передвижения были расписаны сценами великих битв, кораблекрушений и чудес, происходивших на острове. Этот транспорт предназначался не для мирской суеты. В тишине, нарушаемой только шумом моря, они двигались по сонным улицам городка. Лунный свет поблескивал на листьях пальм, ложился на пыльный круп ослика.

– Два младенца родятся на острове, – бормотал доктор. – У моей жены и у графини. И появятся они одновременно. Кто же будет их *medico condotto*⁷?

– Ну, – отозвался Риццу, – разве это не двойное благословение, *dottore*? За одну ночь народятся два младенца – такого в истории острова еще не было.

– Двойные хлопоты.

В двадцать минут третьего они добрались до ворот графской виллы. Доктор подхватил пальто, шляпу, саквояж и припустил по дорожке, чтобы поскорей покончить с этим делом.

Граф стоял у дверей спальни своей супруги в новой части дома. Его лицо в электрическом свете блестело, он походил на рептилию.

– Вы опоздали. Я послал за вами почти час назад.

– От моих услуг отказались. – Раздраженный доктор и не подумал извиняться. – И моя собственная жена тоже рождает. Несколько дней как у нее схватки. Не самое лучшее время

⁶ Здесь: мои извинения (*ит.*).

⁷ Сельский врач (*ит.*).

оставлять ее одну. И я полагал, что *la contessa* пожелала, чтобы роды принимала только акушерка.

– Да, пожелала. Но это я послал за вами. Кармела в этой комнате, вам лучше взглянуть на нее. – Граф отступил в сторону, давая доктору протиснуться мимо своей внушительной особы в комнату графини.

В недавно проведенном электрическом свете все вокруг казалось мертвенно-бледным. Акушерка трудилась в монотонном ритме: дышите, тужьтесь, дышите, тужьтесь. Но Кармела не дышала и не тужилась. Доктор понял, что дело не в перекрученной пуповине и не в болезненных схватках. Если пациентка на этой стадии родов не тужится, то это не предвещает ничего хорошего. Ему нечасто приходилось испытывать страх во время работы, но сейчас он почувствовал, как холодок пополз между лопаток.

– Ну наконец-то вы прибыли! – с осуждением сказала акушерка.

Миниатюрная горничная тряслась у изножья кровати. Как ее зовут? Пьеранджела. Он лечил ее от бурсита.

– Принесите мне воды помыть руки, – велел доктор. – Как долго пациентка находится в этом состоянии?

– О боже! Да уж несколько часов, *signor il dottore!* – Рыдающая Пьеранджела подала ему мыло и горячую воду.

– Судороги продолжаются уже час, – поправила ее акушерка. – И еще у нее приступы изнеможения, когда она никого и ничего не видит.

– Когда начались схватки?

– Вчера рано утром, когда меня вызвали. С семи часов.

С семи часов. То есть они мучаются уже девятнадцать часов.

– Беременность проходила нормально?

– Отнюдь. – Акушерка протянула ему пачку листков – будто чтение ее записей как-то могло помочь в этой ситуации. – *La contessa* оставалась в постели весь последний месяц. У нее отекали руки и были сильные головные боли. Я думала, вы знаете о ее состоянии.

– Отек рук! – воскликнул доктор. – Сильные головные боли! Что же вы меня не вызвали?

– *La contessa* не разрешила, – ответила акушерка.

– Но вы! Вы же могли меня вызвать.

– С Сицилии приезжал доктор синьора графа. Он ее осмотрел и сказал, что ничего страшного не происходит. Что я могла поделать?

– Она должна была рожать в больнице в Сиракузе, а не здесь! – Доктор все больше сердился на акушерку и перепуганную Пьеранджелу. – У меня нет инструментов, чтобы сделать кесарево сечение! И морфия слишком мало!

– Она отказывалась за вами посылать, – сказала акушерка. – Я диагностировала предэклампсию, *dottore*, но кто меня послушается? – И она развела руками, еще больше разозлив доктора.

– Вы должны были бороться! Настоять, чтобы ее отправили в больницу!

Пьеранджела принялась причитать: «Святой Иисус и Мария Матерь Божья, пресвятая Агата, заступница несчастных, и все святые угодники...»

Принятое решение придало уверенности его движениям. Рано или поздно так бывало всегда.

– Все в сторону! – приказал доктор. – Приготовьте кипяток и чистые простыни. Все должно быть чистым.

Принесли воды, из-под обмякшего тела Кармелы вытащили запачканные простыни. Доктор простерилизовал шприц и, наполнив его магниезией, ввел лекарство в руку роженицы. Прodelывая одну манипуляцию за другой, он словно следовал некоему ритуалу, будто читал

молитву «Ангел Господень» или перебирал четки. Подготовил морфий, хирургические ножницы, щипцы.

– Найдите мне иголку и нитки, – бросил он акушерке. – Подготовьте марлевые тампоны и йод. Это все есть в моем саквояже.

Внезапно голос подала Кармела.

– Я просила вызвать только акушерку, – прошептала она. – Не тебя.

– С этим уже ничего не поделаешь. Нам надо извлечь ребенка как можно скорее, – ответил доктор, не обращаясь к ней напрямую.

Он взял морфий и сделал еще укол в тонкую руку. Пока Кармела засыпала, наметил ножницами разрез, примерившись сначала в воздухе. Один точный разрез длиной в пару дюймов. Простыни... так, а где простыни?

– Быстро постелите чистые! – приказал он.

На Пьеранджелу нашло оцепенение, она двигалась как во сне.

– Все должно быть чистое! – заорал доктор. Свою науку он постигал в грязных обледе-
нелых окопах в Трентино. – Все. Если ее не убьют приступы, ее прикончит сепсис.

Кармела вновь пришла в себя. Доктор поймал ее взгляд, глаза выражали один лишь страх – он сотни раз видел такой страх в глазах солдат, когда те выходили из наркоза. Доктор положил ладонь ей на плечо. При его прикосновении, как он и предвидел, что-то в ней изменилось. Она приподняла голову и со всей силой осуждения, на которую была способна, произнесла:

– Это твоя вина.

– Еще морфия, – велел доктор акушерке.

– Твоя вина, – повторила Кармела. – Твой ребенок. Все уже догадались, кроме тебя. Почему ты не смотришь на меня, Амедео?

Он ввел ей лекарство, даже не взглянув на нее, но почувствовал, как спальня будто сжалась под тяжестью ее обвинения. Как только Кармела вновь погрузилась в беспамятство, он встал на колени, сделал разрез, просунул руку и повернул ребенка на четверть оборота. Затем с помощью щипцов одним движением извлек его наружу.

Это был мальчик. И он уже дышал. Доктор перерезал пуповину и передал ребенка акушерке.

– Пока не вышла плацента, ей все еще грозит опасность, – сказал он. Вскоре плацента вышла целиком, и сопровождаемые криком и кровью роды были окончены.

Кармела, как он и предвидел, тут же очнулась. Приподнявшись на влажных простынях, потребовала ребенка. Доктора накрыло дурнотой от облегчения и усилий скрыть его. Он отошел к окну, посмотрел на аллею, ведущую от виллы графа к дороге. Газовые фонари между деревьями сияли зелеными сферами. Пейзаж, терявшийся в сумраке, был уныл и печален: пустынный склон и черное море за ним. Все изменилось, с тех пор как он последний раз на все это смотрел. Комната стала другой. Кармела стала другой. Он и сам стал другим.

Взяв себя в руки, доктор вернулся к своим пациентам. Проверил пульс у Кармелы и у ребенка, потом зашил разрез и протер все йодом. Он проследил за тем, чтобы плаценту, окровавленные простыни, тампоны и бинты сожгли, и только после этого позволил себе повнимательнее рассмотреть Кармелу. Поглощенная младенцем, она забыла о его присутствии. Неужели это тело, истерзанное родами, которое он только что колол, резал и подвергал различным манипуляциям, было целым и молодым, когда он видел его последний раз? Как странно. *Твоя вина. Твой ребенок.* Он позволил себе взглянуть на новорожденного. Здоровый малыш с черным пушком на голове – почему такой кроха вообще должен кому-то принадлежать? Доктор видел в нем черты графа: толстая шея, глаза навывкате.

Но, так или иначе, она бросила ему обвинение, вот что самое главное.

После того как работа была завершена, на него накатила свинцовая усталость. В дверях возник граф, и Кармелу спешно обтерли и прикрыли. Доктору выпало объявить о рождении младенца. И он исполнил свою роль с большим воодушевлением, чем на самом деле испытывал, произнося подходящие случаю фразы: «Прекрасное дитя... сильный мальчик... приступ эклампсии... надеюсь на скорое выздоровление».

Граф осмотрел младенца, осмотрел супругу, кивнул доктору, давая понять, что его миссия окончена.

Поскольку надобности в его услугах больше не было, доктор почистил и собрал свои инструменты и сумрачными коридорами вышел на свежий воздух. Поднимавшееся солнце заливало все истинно средиземноморским сияющим светом. Было начало седьмого.

По дорожке между пальмами кто-то бежал. Риццу.

– *Signor il dottore!* – кричал старик. – У вас мальчик!

Из-за крайней усталости доктор в первый миг ничего не понял.

– Мальчик! – надрывался Риццу, распугивая голубей. – Ваша жена родила мальчика!

*Cazzo!*⁸ Он совсем забыл. Доктор кинулся навстречу Риццу.

– Очень быстро разрешилась, – выкрикивал в возбуждении старик, растеряв всю свою чопорность. – За час. Джезуина сказала, она могла бы родить, даже не просыпаясь. – Старик перевел дух. – Тем лучше. Ха! Слава Господу, и святой Агате, и всем святым!

Отказавшись от неспешной повозки, доктор побежал домой через пробуждающийся городок. Уже подавали голос цикады, свет разливался по аллеям и площадям, в сотне вдовьих дворов быстро и нетерпеливо скребли метлы. Он чувствовал, как солнечный свет и свет в его душе сливаются воедино и все вокруг будто преобразается.

В спальне стоял запах крови и пота. Джезуина дремала, прямо сидя на стуле у изножья кровати. Ребенок тоже спал – на сгибе материнской руки.

– Прости меня, *amore*, – сказал доктор.

– Это оказалось легче, чем я думала, – ответила жена со свойственной ей рассудительностью. – Столько страхов, а все закончилось через час. Мы с Джезуиной отлично справились без тебя.

Он стер остатки крови. Младенец, длинное мурлыкающее существо, похожее на новорожденного котенка, словно явился из иного мира.

Доктор взял малыша на руки, осмотрел ножки и ручки, сложил ступни, разделил пальчики и, испытав прилив гордости, прослушал через стетоскоп трепыхание сердечка. Вместе с нахлынувшей радостью его переполняли нежность и странное поэтическое чувство. Какая же огромная разница – быть отцом или просто любовником. Теперь он это понимал! Почему же он так долго не решался завести ребенка? Он осознал, что жизнь его до этого момента не имела значения. Она была подготовкой к этому часу.

Однако существовала проблема – второй ребенок. Из-за этой ведьмы Кармелы к полудню слухи разнесутся по всему острову: чудо, близнецы, рожденные разными матерями, явились на свет в один час, словно так и было задумано! Он знал, что станут говорить люди.

Жена лежала обессиленная, апатичная, точно пробежала марафон. Он осмотрел ее, покрывая поцелуями с пылкостью, отчасти вызванной чувством вины. Он понимал, какая буря надвигается: и акушерка, и Пьеранджела слышали слова Кармелы. Подобная новость может настроить против него жену, соседей и, может быть, даже заставит его покинуть остров. Но сейчас его переполняло одно лишь ликование.

⁸ Здесь: мать твою! (*ит.*)

II

Его собственное рождение произошло при невыясненных обстоятельствах, его появлению на свет никто не радовался, его попросту не заметили.

Во Флоренции, городе над рекой Арно, есть площадь с синими тенями и тусклыми фонарями. С одной стороны на площади – здание с галереей, поддерживаемой девятью колоннами, в глухой стене галереи есть окно с решеткой из шести прутьев – трех горизонтальных и трех вертикальных. Прутья изъедены ржавчиной. По ночам они поглощают стылый воздух вместе с сыростью и туманом. В те времена за окном стояла подставка, на ней лежала подушка.

Здесь и началась биография доктора, когда одной январской ночью его бесцеремонно просунули сквозь прутья. Звякнул колокольчик. Голый одинокий малыш заплакал.

Внутри здания раздались шаги. Его взяли на руки и, прижав к накрахмаленной груди, унесли прочь – на свет.

Когда сестры из сиротского приюта развернули ребенка и увидели нежную кожу, они тотчас поняли, что это новорожденный, несмотря на крупные размеры. На шее ребенка на красной ленточке висела отломанная половинка медальона с изображением святого.

– Должно быть, святой Христофор, – предположила одна из сестер. – Смотрите: две ноги и три волнистые линии, как будто вода. Или это кто-то из южных святых.

По всем признакам ребенок был здоров. На ночь его отнесли к кормилице.

Поначалу он отказывался брать грудь, но Рита Фидуччи упорно продолжала совать ему в рот свой сморщенный сосок, пока младенец не принял жадно причмокивать. Насытившись, он заснул. Рита покачала его, напевая не без упрека: *Ambara-bà, cic-ci, coc-cò!*⁹ Песенка предназначалась для детей постарше, но этот мальчик оказался Рите слишком крупным для обычной колыбельной. Потом эта песня то и дело всплывала в памяти Амедео в разные моменты его жизни.

Перед уходом директор зашел посмотреть на вновь прибывшего. Пять детей за одну ночь! Эпидемия, не иначе. Каждый третий ребенок, рожденный во Флоренции, теперь попадал через железные прутья окна в сиротский приют, где его пеленали, давали ему имя, кормили, лечили от недугов и отсылали в отвергнувший его мир. Директор сделал запись в большой желтой книге *Balie e Bambini*¹⁰, отметил время поступления ребенка, имя кормилицы и добавил описание простынки, в которую был завернут подкидыш («голубая, кое-где с пятнами крови»), и медальона («возможно, святой Христофор»). Он также записал превышавший норму вес ребенка: десять фунтов и одиннадцать унций – приютский рекорд.

Жестяной медальон директор завернул в квадратный лист бумаги и присовокупил к другим амулетам в коробке, помеченной «Январь, 1875 год». В коробке в таких же квадратных конвертах уже лежали флакон из-под духов на серебряной цепочке; женский силуэт, вырезанный из бумаги и разрезанный посередине; половинки и четвертинки жестяных медальонов, напоминавшие жетоны от камеры хранения. Больше половины детей прибыли с такими амулетами.

Он задумался и записал фамилию ребенка: Буонароло. Учитывая наплыв подкидышей – только за прошлый год им принесли две тысячи детей, – директор, старшая сестра и ее подчиненные придумали при наречении ребенка изменять одну или две буквы в фамилии за раз. Таким образом, сегодняшние пятеро поступивших стали: Буонареале, Буонареало, Буонарала, Буонарола, Боунароло. Этому младенцу-великану подойдет Амедео – доброе благочестивое имя. Добавив имя ребенка, директор закрыл книгу.

⁹ Начало старинной детской итальянской песенки.

¹⁰ Кормилицы и младенцы (ит.).

Пробудившись, ребенок был вновь приложен к груди Риты, на этот раз он с готовностью принял ее. В нем уже проявлялось главное его предназначение: выжить, вырасти и обрести дом и семью.

Он оказался не только самым крупным из подкидышей в приюте, он еще и рос в два раза быстрее, чем малыши Буонареале, Буонареало, Буонарала и Буонарола. Его выкармливали сразу две кормилицы, вместо обычной накрахмаленной колыбельки для него пришлось купить специальную кроватку и поставить ее между кроватями кормилиц, потому что, как только его клали в тесную колыбель, он начинал беспокоиться. Он рос гигантскими скачками, вторая кормилица называла его «нескладное дитя», а Рита звала благословенным ангелом. Рита клала его на колени и напевала: *Ambara-bà, cic-ci, coc-cò!* – так что порой он забывал, что она ему не родная мать.

Когда он чуть подрос, Рита разложила его судьбу на потрепанных картах Таро. Директор застал ее за гаданием и запретил этим заниматься. В памяти Амедео не осталось ничего из ее предсказания, но он запомнил сами карты и полюбил истории, в них заключенные: про Отшельника, про Влюбленных, про Повешенного, про Дявола и Башню. Он умолял рассказывать ему истории про другие карты. Рита же, отложив карты, поведала ему сказку о девушке, которая обратилась в яблоко, потом в дерево, а затем стала птицей. Он услышал сказку про хитрого лиса. После этого он мечтал, чтобы лис спал около его кровати на каменном полу в общей спальне. Он жаждал все больше историй. Франка рассказала ему две сказки: первую – о демоне по имени Серебряный Нос и вторую – о колдуне, которого прозвали Тело-без-души. Наслушавшись ее сказок, Амедео заперся в платяном шкафу Риты, опасаясь, что демон и колдун придут за ним. Но и после этого он не перестал любить сказки.

Он был еще совсем мал, когда пропала Рита. Ему так и не объяснили, куда она делась. Его отослали в деревню, в маленький домик с земляным полом, к приемным родителям. Если в туалете встать на сиденье и заглянуть в окно, то можно было увидеть клубы тумана – там была Флоренция, город, где он родился, – и блестящую змейку реки Арно.

Приемная мать объявила, что прокормить его слишком накладно и что вся одежда ему мала. И его вернули обратно.

К тому времени, когда ему исполнилось шесть, в приюте оставались одни девочки и Амедео. Окно, через которое подкинули Амедео, теперь было закрыто. Детей приносили в контору – в корзинке, «цивилизованно», как называла это сестра Франка, иначе, мол, плохие люди бросали своих детей «ради удобства». Амедео часто думал, может и его оставили «ради удобства». У него появилась привычка стоять на ступеньках под закрытым окном в надежде, что его мать вернется за ним.

Однажды майским днем его увидел доктор, прибывший осматривать детей. Доктор особо приглядывал за Амедео. Из-за необычно больших размеров у мальчика были проблемы с ногами, он вечно попадал во всякие неприятности, и потому у доктора он появлялся чаще, чем последнему того бы хотелось.

– Ну, мой маленький дружок, – сказал доктор (который никогда не знал, как обращаться к детям, вышедшим из грудного возраста), – не было никаких травм за последние недели? Это хорошо. Что же с тобой будет?

В то утро Амедео испытывал смутное беспокойство, которое вдруг обрело форму и содержание. Он воспринял вопрос ничего не подозревавшего доктора слишком близко к сердцу и разрыдался.

Доктор невольно смутился. Он порылся в карманах и извлек оттуда по очереди фиалковую пастилку, мелкую монетку, старый театральный билет и носовой платок с инициалами «А. Э.» (последний Амедео тут же применил по назначению).

– Ну-ну, – сказал доктор. – Здесь не твои инициалы, но вполне сойдут. Первая буква правильная – «А» значит Амедео, а мое имя Альфредо, – правда, вторая не подходит. Ты уже умеешь читать? Моя фамилия Эспозито, в самый раз для найденыша вроде тебя, она означает «покинутый». Разумеется, в нынешние времена никто не даст такую фамилию подкидышу, из-за предубеждений.

– Вас тоже подкинули? – спросил Амедео, прекратив на миг рыдать.

– Нет, – ответил доктор. – Возможно, подкидышем был мой прадедушка, так как у нас нет никаких записей о нем.

И мальчик вновь ударился в слезы, как будто воспринял как личное оскорбление факт, что доктор не из подкидышей.

– Съешь пастилку, – увещевал его доктор.

– Не люблю пастилки, – сказал Амедео, который никогда их не пробовал.

– А что ты любишь? – спросил доктор.

– Сказки, – всхлипнул мальчик.

Доктор напряг память и извлек из ее глубин полузабытую историю, которую рассказывала ему няня. Это была сказка о попугае. Одна женщина собиралась предать своего мужа, а попугай пытался предотвратить измену, рассказывая невероятную длинную-предлинную историю. Влетев в окно, он принялся излагать ей свою сказку. Женщина слушала как завороженная – все дни и ночи напролет, пока не вернулся муж. И все закончилось хорошо. Вроде бы.

Амедео вытер слезы и сказал:

– Расскажите мне эту сказку как следует.

Но доктор не смог все вспомнить. На следующей неделе он принес Амедео толстый блокнот в красном кожаном переплете, где была записана эта сказка. По крайней мере, его экономка Серена, которая записала историю, именно так запомнила ее со слов своей бабки, по чьей линии в роду имелись знатные сказочники. Почему доктор постарался раздобыть для Амедео историю попугая, он и сам не знал. На обложке блокнота были вытеснены золотые лилии. В жизни Амедео это была первая по-настоящему прекрасная вещь. Глядя на радость мальчика, доктор решил оставить ему блокнот.

– Ну вот, – сказал довольный собой доктор, – ты можешь добавлять сюда другие сказки и упражняться в чтении и письме.

После этого у Амедео появилась привычка выслушивать все подряд истории, которые рассказывали сестры, монашки, священники ордена Святейшей Аннунциаты, прохожие, остановившиеся под окном сиротского приюта, и посетившие приют благотворители. Позже, научившись писать, он заносил понравившуюся историю в свою красную книжку.

В тринадцать лет на вопрос, какое ремесло он бы выбрал, Амедео ответил, что хотел бы стать доктором. Его послали к часовщику. Часовщик вернул его обратно через три дня. Большие пальцы мальчика крушили миниатюрные часовые механизмы. Его отправили к булочнику, но булочник то и дело натывался на огромного ученика. После нескольких месяцев мучений булочник растянул из-за него лодыжку, и его терпение лопнуло. Потом Амедео снарядили к печатнику. Там ему понравилось. Но за работой он то и дело останавливался, чтобы дочитать историю, а это стоило печатнику денег и клиентов. И Амедео снова оказался в приюте.

Так он оставался мальчиком без профессии и без призвания. Его отправили в школу, которую он, честно говоря, перерос. Здесь он наконец отличился: каждый год заканчивал лучшим учеником, обгоняя по оценкам сыновей клерков и лавочников, у которых трудился. Он все еще настаивал, что хочет стать врачом. Ни один подкидыш из приюта еще не учился на врача, и директор решил посоветоваться с доктором Эспозито.

– Это возможно? – спросил он.

– Возможно, – ответил доктор. – Если кто-нибудь возьмется оплатить учебу, а кто-нибудь другой будет его опекать и направлять. И если он избавится от своей неуклюжести. Что, позволю себе заметить, тоже возможно, если парень постарается.

Директор убедил одного из благотворителей оплатить часть расходов на обучение, другой благотворитель обеспечил Амедео учебниками и одеждой. Два года пришлось потратить на службу в армии, но, когда Амедео вернулся, доктор Эспозито подчинился неизбежному (за эти годы он уже прикипел к нескладному парню) и позволил Амедео переехать в свой дом. Молодой человек поселился в комнатухе в глубине докторского дома, ел вместе с его экономкой Сереной, а доктор следил за его учебой. Амедео уже исполнился двадцать один год, так что обо всем остальном он мог позаботиться самостоятельно. Доктор устроил подопечного в медицинскую школу при больнице «Санта-Мария Нуова», а по вечерам тот зарабатывал на жизнь, моя стаканы в баре между виа дель'Ориуоло и Борго дельи Альбици.

Все сложилось как нельзя лучше. Молодой человек разводил в камине огонь, придвигал доктору стул, и тот – холостяк на склоне лет – испытывал к юноше отцовские чувства. Кроме того, Амедео был приятным собеседником, поскольку ежедневно прочитывал газету от первой до последней страницы и систематически изучал библиотеку доктора. И в результате Эспозито нарадоваться не мог тому, что взял сироту в дом. Время от времени доктор приглашал Амедео отужинать с ним в сумрачном кабинете, где имел обыкновение есть прямо за письменным столом посреди завалов из научных журналов. По натуре доктор был коллекционером, и его кабинет переполняли всяческие диковины: высушенные бабочки, заспиртованные в банках белые червяки, кораллы, чучела полинезийских грызунов, прочие чудеса, которые он собирал на протяжении своей долгой одинокой жизни, будучи последним представителем большой научной династии. Молодого человека особенно завораживал стоявший на столике в холле возле подставки с зонтами макет человеческого глаза – верхний слой у него был отделен, чтобы продемонстрировать сеть кровеносных сосудов. На лестнице вдоль стены висели китовые усы. Экспонаты Амедео не раздражали, напротив, он привязался к этим штуковинам так же, как и к самому доктору. Про себя он решил, что однажды у него будут собственные коллекции: кабинет, заставленный научными артефактами, и библиотека, полная книг. Его красная книжка заполнялась новыми историями, а в голове роились идеи энтузиаста-недоучки.

Но когда он наконец получил диплом (Амедео по опыту знал, что человеку без роду-племени на все требуется времени в два раза больше), он стал *medico condotto*, а не больничным хирургом, как его приемный отец. В знак уважения он взял его фамилию – Эспозито. Ему не удавалось найти постоянное место работы, и он практиковал в деревнях, если старый доктор умирал или местный врач не мог работать по болезни. У него не было ни лошади, ни велосипеда, так что и дождливым утром, и холодной ночью он обходил каменные домики пациентов пешком. На холмах под Фьезоле и Баньо-а-Риполи ему приходилось накладывать шины на сломанные лодыжки, вправлять плечи крестьянам и принимать роды у их жен. В поисках работы он разослал письма во все деревни провинции, но безрезультатно.

Все это время Амедео продолжал собирать истории. Его профессия и манеры, похоже, располагали к откровенности. Крестьяне рассказывали ему о потерянных в море дочерях, о разлученных братьях, которые, встретившись вновь, не узнавали друг друга и вступали в смертельную схватку, об ослепленных пастухах, которые ориентировались по пению птиц. Создавалось впечатление, что бедняки больше всего любили грустные истории. Все эти сказки по-прежнему оказывали на него магическое воздействие. Возвращаясь домой пасмурным утром в свое очередное временное жилище, он мыл руки, наливал себе кофе, раскрывал окна навстречу бодрому людскому гомону и принимался переписывать истории в свою красную книжку. Он делал это независимо от того, какая участь постигала его пациента, и всегда торжественно. В этом смысле его книга стала собранием торжества тысячи других жизней.

Несмотря на это, его собственная жизнь оставалась скучной и неопределенной, как будто бы еще и не началась. Крупный мужчина с ястребиным профилем и сросшимися бровями, он ходил, распрямившись во весь рост, не испытывая неловкости за свои размеры, как это зачастую свойственно высоким людям. Его рост и неясное происхождение делали его неуместным и чужим везде. Наблюдая за тем, как молодежь фотографируется на пьяцца дель Дуомо во Флоренции, попивает горячий шоколад, сидя за колченогими столиками в барах, он чувствовал, что никогда не был одним из них. Юность миновала, он ощущал, что стоит на пороге зрелости. Амедео был одинок, в одежде старомоден, скромен в привычках, вечерами он штудировал медицинские журналы, а воскресенья проводил в гостиной своего состарившегося приемного отца. Они обсуждали газетные новости, рассматривали новые экспонаты в коллекции доктора и играли в карты. Амедео смотрел на колоду и вспоминал карты Таро из своего детства: Повешенного, Влюбленных и Башню.

Старый доктор отошел от дел, но сиротский приют продолжал посещать. Там все изменилось за последние годы: дети теперь спали в проветриваемых дортуарах и играли на широких террасах, завешанных выстиранным бельем.

Амедео все пытался найти постоянную работу. Он разослал письма повсюду, даже в южные деревни, о которых прежде и не слышал, в альпийские коммуны, на крошечные острова, жители которых отвечали ему с оказией с соседнего острова, потому что до них почтовая связь еще не добралась.

Лишь в 1914 году таким вот обходным путем ему ответил мэр с одного островка. Он написал, что его зовут Арканджело, а его город называется Кастелламаре. Если Амедео угодно переехать на юг, то там как раз имеется остров решительно без какой-либо медицинской помощи, посему для доктора есть место.

Остров оказался чуть заметной точкой в географическом атласе, расположенной к юго-востоку от Сицилии, и это была самая дальняя точка, если бы Амедео решил отправиться из Флоренции на юг, не имея намерения добраться до Африки. Он ответил в тот же день согласием на предложение.

Наконец-то у него будет постоянная работа! Приемный отец, провожая его на вокзале, не сдержался и прослезился, пообещав, что летом они вместе выпьют по стаканчику *limoncello*¹¹ на террасе под сенью бугенвиллей (у старого доктора были весьма романтические представления о жизни на юге).

– Может быть, я даже переселюсь туда на старости лет, – сказал старик. Он смотрел на Амедео, видя в нем родного сына, хотя и не находил слов, чтобы в этом признаться. Амедео, в свою очередь, не знал, как выразить ему свою благодарность. Он лишь крепко пожал доктору руку. За сим они расстались. Больше свидеться им не довелось.

¹¹ Лимонный ликер (*ит.*).

III

От Неаполя Амедео плыл на пароходе третьим классом. Он впервые оказался в открытом море и был ошеломлен его гидравлическим шипением и необъятностью. Он вез с собой чемодан, куда сложил свою небогатую одежду, бритвенный прибор, трубку и блокнот с историями, там же лежал кодаковский складной фотоаппарат – неожиданный подарок приемного отца. В небольшом саквояже – переложенные соломой медицинские инструменты. Амедео был полон решимости начать на Каstellамаре новую жизнь. Жизнь человека, знающего толк в фотографии, человека, который попивает горячий шоколад на террасе роскошного бара, а не поддыша, докторишки без гроша в кармане и без работы. Он все еще пребывал в том первобытном состоянии, в каком явился на свет: ни жены, ни друга, не считая приемного отца, ни наследников. Разве судьба его не могла измениться? Разве перемены не начались с того момента, когда он пустился в это путешествие? Ему скоро сорок. Пора погрузиться в реальную жизнь, о которой он всегда мечтал.

С детства Амедео чувствовал, что плывет против течения, да так оно и было. И сейчас, оглядываясь, он видел, что все пароходы, покидавшие порт Неаполя, направлялись на север, словно влекомые невидимым магнитом, а его судно двигалось на юг, рассекая волны и вспенивая носом лунный свет. Пароход зашел в Салерно и Катанию и пришвартовался в Сиракузе. Отсюда Амедео впервые увидел Каstellамаре. Остров казался плоским мрачным бугорком на линии горизонта – скалой, торчащей из воды. Ни парохода, ни паромы, чтобы добраться до острова, не было, ему удалось найти только рыбацкую лодку с не предвещавшим ничего хорошего названием «Господи, помилуй». Да, сказал ему хозяин лодки, он доставит Амедео на остров, но не меньше чем за двадцать пять лир, потому как при таком ветре на это понадобится весь вечер.

Старик, разбиравший сети неподалеку, прислушивался к их разговору. Он забормотал что-то про остров невезения, про проклятье плача и пустился в запутанные объяснения про пещеры, где обитают скелеты. Однако первый рыбак, чуя близкую выгоду, быстренько осадил его и отправил обратно к сетям.

И поступил разумно. Амедео суеверностью не отличался, обычаев юга не знал, а потому и не думал вступать в торг. Он заплатил двадцать пять лир и с помощью рыбака устроил свою поклажу под сиденьем гребца.

Рыбак греб и болтал, греб и болтал. Жители Каstellамаре, сообщил он, перебиваются тем, что пасут коз и собирают оливки. Еще они охотятся на тунца, которого забивают палками. И на другую рыбу, любую другую, которую можно забить, или поймать на крючок, или забagrить за жабры. Амедео, страдавший морской болезнью от самого Неаполя, не открывал рта, а рыбак все распинался. Наконец они достигли каменной пристани Каstellамаре.

Рыбак высадил его на остров в начале десятого. Пока Амедео наблюдал, как огонек на корме удаляющейся лодки мелькает среди волн, его поглотила абсолютная пустота и тишина, словно бы место это было необитаемо. И действительно, ближайшие к берегу строения были темны и безжизненны. Каменную пристань, еще не остывшую после дневного зноя, устлали лепестки бугенвиллей и олеандра, в воздухе витал легкий запах ладана. Подхватив багаж, Амедео отправился на поиски какого-нибудь батрака или рыбака, владеющего тачкой. Но нашел лишь старую арабскую *tonnara*¹² с каменными арками, на дне которой валялись игральные карты и окурки, и белую часовню, также пустую. С алтаря на него взидала неведомая ему святая, по обе стороны от статуи стояли вазы с лилиями, поникшими от жары.

¹² Сооружение, соединенное с открытым морем, куда загоняется тунец (*um.*).

В своем письме мэр Арканджело инструктировал: Амедео должен подняться на холм, где он и обнаружит город, «миновав заросли опунций и каменную арку на вершине скалы». Он начал привыкать к темноте и смог различить очертания поселения, приютившегося на самом краю холма, – шаткие домики со ставнями на окнах, облупленный барочный фасад церкви, квадратную башню с куполом, синяя эмалевая облицовка которого отражала свет звезд.

Подъем с чемоданом по крутому склону был задачей малоисполнимой. Придется оставить багаж внизу. Амедео занес чемодан в часовню, понадеявшись, что освященные стены защитят его имущество, и с одним саквояжем, в который переложил фотоаппарат, пустился в путь. Дорога оказалась каменистой и неровной, в зарослях вдоль нее шныряли ящерицы, в темноте слышался лишь шум прибора. Оглянувшись, Амедео увидел, как волны набегают и пенятся у входа многочисленных небольших пещер. Дальше дорога поворачивала прочь от берега, через полосы полей, и петляла вокруг приземистых каменных крестьянских домов. Он миновал оливковую рощу, прошел меж темными силуэтами высоких кактусов. И действительно, вот каменная арка, старая и осыпающаяся. Стоя на самой вершине острова, обдуваемый ветром, он понял, что и отсюда Кастелламаре выглядит точно так же, как и на расстоянии, – одинокая скала в огромном море. На севере едва различались огни Сицилии, на юг же простиралась сплошная чернота.

На городке лежала печать безмятежности, характерная для мест, не потревоженных приезжими. Главную улицу освещали стоявшие на небольшом расстоянии друг от друга закопченные электрические лампы, на боковых улочках с балконов свисали газовые фонари. Росшие в изобилии тимьян и базилик наполняли воздух крепким ароматом. Доктор углубился в узкие улицы в поисках признаков жизни. Он миновал торговую улицу с вывесками, нарисованными черной краской по штукатурке, пахнувший тинной фонтан, смотровую площадку с видом на море. Ни единой живой души. И когда он уже почти отчаялся, послышалось пение. Поплутав по неосвещенным проулкам, несколько раз наткнувшись на низко висящие веревки с бельем, отбившись от бродячего пса, он вышел к длинной лестнице, ведущей к городской площади. И там наконец обнаружил жителей острова.

На площади, венчавшей остров, все бурлило. Женщины сновали, придерживая на голове большие подносы с рыбой, тут и там вино лилось в стаканы, переборы гитар и напевы *organetti*¹³ оглашали вечерний сумрак. Босоногие мальчишка и девочка опасливо маневрировали с тележкой меж людей. В одном углу площади с аукциона продавали осла. Женщины, мужчины и дети толкались вокруг животного, размахивая розовыми билетиками. С пьедестала на толпу взирала подсвеченная сотней красных огней большая гипсовая фигура святой – женщины с копной черных волос и тревожным пристальным взглядом. Амедео предстояло вскоре узнать, что он прибыл на остров в разгар ежегодного Фестиваля святой Агаты. Происходящее походило на чудесный, сказочный переполох, ничего подобного ему видеть не доводилось.

Амедео вступил в самую гущу этого веселья, как в теплое море. Вокруг витали запахи жасмина, анчоусов и хмельных напитков, раздавались обрывки местной речи и итальянского с акцентом, кто-то пел печальные песни на неизвестном ему языке. Он шел мимо ярких огней, факелов и сотни красных свечей, которые освещали похожую на призрак святую. Наконец он выбрался из толпы, прижимая к груди саквояж, и увидел на дальнем конце площади необыкновенный дом.

Квадратной формы бледно-опалового цвета здание, казалось, балансировало на самом краю холма между залитой огнями площадью и сокрытыми мраком холмами и морем. Террасу окаймляли заросли бугенвиллей. За небольшими столиками сидели люди, пили *limoncello* и *arancello*¹⁴, спорили и ругались, играли в карты, раскачивались в такт бодрым ритмам *organetti*.

¹³ Аккордеон (*ит.*).

¹⁴ Апельсиновый ликер (*ит.*).

Вывеска замысловатым шрифтом провозглашала: *Casa al Bordo della Notte* – «Дом на краю ночи».

К Амедео подковылял невысокий старик. Слегка пошатываясь, он осмотрел его и спросил:

– Вы кто такой?

– Амедео Эспозито, – испуганно представился Амедео. – Я новый доктор.

– Новый доктор! – в упоении вскричал старик. – Новый доктор!

Вмиг ошарашенного Амедео окружили жители острова, они аплодировали, хлопали его по плечам, хватали за руки. Он не сразу сообразил, что так люди выражают свою приязнь. Старик ликовал пуще всех:

– Я Риццу! Это бар моего брата. Риццу – очень важная фамилия на этом острове, вы сами убедитесь, *signor il dottore*. Я принесу вам выпить. И еще я принесу вам жареных анчоусов, рисовые шарики и тарелку моцареллы.

Доктор, который не ел ничего от самой Сиракузы, почувствовал, насколько проголодался. Он сел. Ему налили ликера, накрыли стол. Вскоре появился и мэр Арканджело. Он продвигался через толпу, явно в сильном подпитии, улыбаясь направо и налево. Пожал Амедео руку, похлопал по плечу, приветствуя его прибытие на остров. Затем представил священника, тот был худ, носил имя отец Игнацио и был, по словам Арканджело, членом городского совета.

Покончив со встречей гостя, мэр удалился, а священник, прокашлявшись, подсел к Амедео:

– Позволю себе спросить, вас еще не познакомили с *il conte*? Заместителем мэра? Впервые на острове мэром избрали не местного графа, так что вы прибыли в разгар больших перемен.

Амедео, который считал, что в двадцатом веке в Италии не осталось феодалов, не нашелся с ответом.

– Вы скоро его увидите, – сказал священник. – Не волнуйтесь. Чем быстрее эта встреча закончится, тем лучше.

Вернулся Риццу с тарелками в сопровождении такого же мелкого старичка, которого он представил как своего младшего брата и владельца бара. Риццу забрался на стул напротив Амедео, подлил ликера и пустился излагать историю острова и святой, которой был посвящен фестиваль.

– Сколько раз я говорил отцу Игнацио, чтобы он поднял вопрос перед папой об официальном признании святой Агаты. Она излечивала недуги. Сняла проклятье плача, другой раз прекратила эпидемию тифа. Она спасла остров от вторжения, направив на неприятеля шторм из летающих рыб. В четвертый раз она показала свой дар, излечив ноги девушки, упавшей в колодец, хвала святой! А что, вон там сидит та самая девушка – синьора Джезуина.

Амедео обернулся.

– Нет, *signore*, вон там! – Риццу указывал на пожилую женщину, которая раскачивалась в такт веселой музыке *organetti*.

– Когда произошло чудесное исцеление? – спросил доктор.

– Ну, уж немало лет как. Не сейчас, так в следующем году мы ожидаем от святой Агаты нового чуда. Во время фестиваля мы проносим ее статую по всему побережью, и в награду она благословляет рыбацкие лодки, новый урожай и всех младенцев, рожденных на острове. В этом году их семеро – так что, осмелюсь сказать, вам будет чем заняться, *dottore*!

– И всех их нарекут Агатами, – мрачно добавил священник. – Уверен, нигде в мире нет столько Агат, сколько на этом острове. Приходится награждать их более сложными именами: Агата с зелеными глазами, Агата из дома с бугенвиллеями, Агата, дочь сестры булочника...

– Агата – самое прекрасное имя! – пьяно запротестовал Риццу. Он слез со своего стула и пошел искать вино для доктора, которому, по наблюдениям Риццу, местные ликеры не пришлись по вкусу, так как он пил слишком медленно, давился и кашлял без необходимости.

Тем временем Амедео привел в восторг присутствующих, достав свою заветную красную книгу и записав в нее рассказ Риццу про святую Агату, который глубоко впечатлил его. Как и всё этим вечером, история Агаты казалась окутанной чарами и представлялась не вполне реальной, и он боялся, как бы не забыть ее.

Когда любопытствующие разбрелись, отец Игнацио подался к Амедео:

– Боюсь, здесь вам не будет покоя. На этом острове не было врача с тех пор, как первые греческие мореплаватели высадились тут две тысячи лет назад. Местные повалят к вам со своими мозолями и геморроями, больными кошками, истеричными дочерьми и кучей вопросов, которые они имеют по медицинской части. И со своими историями. Их будет очень много. Готовьтесь.

– У вас на острове никогда прежде не было врача?

– Никогда.

– А что же вы обычно делаете, когда кто-нибудь заболит?

Отец Игнацио развел руками:

– Если что-нибудь серьезное, мы отправляем больных на рыбацкой лодке на большую землю.

– Ну а если шторм или лодка недоступна? Мне с трудом удалось добраться сюда, только один человек согласился меня везти.

– У меня есть кое-какие лекарства, – ответил священник. – Та добрая вдова, Джезуина, помогает роженицам. Мы с ней справляемся как можем. Но нет, это очень печальное положение дел. Мы рады, что вы приехали к нам. У меня сердце кровью обливается, когда приходится хоронить молодых людей, а я даже не знаю, можно ли было это предотвратить.

– Но почему вы только теперь наняли врача?

В ответ отец Игнацио печально хмыкнул:

– Вопрос политики. Этого не желал предыдущий мэр. Он не видел необходимости иметь на острове врача. Но сейчас городской совет поменялся, я сам в совете, и директор школы Велла, а Арканджело стал мэром, и мы взялись за дело.

– А прежде мэром был граф?

– Граф д'Исанту, – подтвердил священник.

– Тот самый, которого тут все ждут?

– Да, *dottore*. Разумеется, он граф теперь только по титулу, правителем острова, как в давние времена, он не является. Но и после Объединения Италии местные жители – чертовы глупцы – продолжали выбирать мэром представителя рода д'Исанту, за исключением последнего раза – только Богу и святой Агате известно почему!

– Этот *il conte* был мэром столько лет и не видел нужды во враче? Сколько людей живет на острове?

Отец Игнацио сказал, что жителей на острове примерно тысяча, но, насколько ему известно, перепись населения здесь никогда не проводилась. Тут внезапно священник переключился на вопрос жилья для Амедео:

– Вы будете жить в доме директора школы *il professore*¹⁵ Веллы и его жены Пины. Они должны быть где-то здесь. Позвольте, я приведу их.

Священник поднялся из-за стола и через несколько минут вернулся с директором школы и его женой. *Il professore* был мужчиной лет сорока с небольшим, напomaженные волосы он расчесывал на пробор. Хлопнув Амедео по плечу, он сказал:

– А, хорошо, хорошо, наконец-то приехал образованный человек.

Его слова вызвали у священника ухмылку. *Il professore* завладел вниманием Амедео и засыпал его фактами из истории острова: «захватывали ВОСЕМЬ держав, вы представляете»,

¹⁵ Учитель, преподаватель (*ит.*).

и «не было церкви до 1500 года». К трем часам утра, допившись до полной неспособности говорить, он свалился со стула.

Директора школы сопроводили домой, и из тени вышла его жена Пина. *Il professore* успел поведать Амедео, что в жилах местных обитателей текла кровь норманнов, арабов, византийцев, финикийцев, испанцев и римлян. Это явно отразилось на внешности Пины, которая обладала черными косами и глазами неожиданного опалового цвета. Ее втянули в компанию и буквально заставили рассказать то, что жители острова называли «настоящей историей Каstellамаре». Что она и сделала. Ее голос звучал неуверенно, но говорила она громко. Это был рассказ о захватчиках и изгнанниках, извержениях жидкого огня и загадочном плаче, о скорбящих голосах и пещерах с гремющими, выбеленными временем костями. Рассказ настолько поразил Амедео, что, проснувшись на следующий день, он попытался припомнить его во всех подробностях и лишь позже осознал, что от него в ту первую ночь ускользнула самая главная подробность: никто не мог сравниться с Пиной в умении рассказывать истории.

Закончив, Пина извинилась и ушла: она должна была убедиться, что муж благополучно добрался до дома. Она постарается вернуться к концу праздника и уж точно к разбрасыванию цветов.

– Пина – умная женщина, – заметил священник, глядя ей вслед. – Я ее крестил и учил ее катехизису. Она слишком образованна для этого острова и для своего мужа. Чертовски жаль, что я не могу убедить *il professore* оставить свой пост и передать его жене. У нее бы гораздо лучше получилось, сам-то он жуткий зануда.

Старик Риццу, появившийся во время рассказа Пины, зашелся от восторга:

– Отец Игнацио любит скандалы! Вечно устраивает их. Он самый необычный из всех наших священников.

Святой отец, явно польщенный, залпом допил *arancello*.

В этот момент по толпе прокатилась волна возбуждения – некий коллективный восторг.

– *Il conte*, – объяснил Риццу. – Наконец-то прибыл.

– Да, – отреагировал отец Игнацио. – Еще один персонаж, которого я с трудом перевариваю. Извините, *dottore*, я должен удалиться.

Возле статуи святой появился корпулентный мужчина в бархатном пиджаке. Амедео наблюдал, как он прокладывает себе путь через толпу, привлекая всеобщее внимание и принимая подношения. Одни кланялись и пожимали ему руку, другие протягивали дары: тарелку с баклажанами, бутылку вина, живую курицу в деревянной клетке. Все это граф брал и передавал следовавшей за ним свите. Это воспринималось как должное, хотя Амедео заметил, что не все подходили к графу и не все тянули руки в приветствии.

Граф наконец приблизился к столу Амедео. Священник исчез, Риццу принялся кланяться. Амедео решил, что ему подходит встать.

– Вы, как я понимаю, и есть новый доктор. Я Андреа д'Исанту, *il conte*.

Амедео поспешно представился.

– *Piacere*¹⁶, – сказал граф безо всякой радости. – Это моя жена Кармела.

Вперед выступила молодая женщина со скупающим выражением на лице. Ее черные волосы были завиты, на голове красовалась шляпка, увенчанная пером, какие носили в Лондоне и Париже, что выделяло ее на фоне старомодных нарядов местных красавиц.

– Кармела, – произнес граф, махнув рукой в сторону жены, – принеси мне кофе и что-нибудь выпить. Вина. И чего-нибудь закусить – печенья или *arancino*¹⁷.

После чего отодвинул стул, опустился на него и задумался на какое-то время.

– Итак, – прервал граф молчание, – когда вы прибыли? Кто встречал вас на причале?

¹⁶ Здесь: рад (*um.*).

¹⁷ Кумкват (*um.*).

– Около девяти часов, – ответил Амедео. – Меня никто не встречал. Я добрался сам. Но меня уже познакомили с синьором Арканджело и членами городского совета – профессором Веллой и отцом Игнацио.

– Вы ведь горожанин? Северянин? И что же вы делаете на этой скале на самом краю света? Не иначе скрываетесь от чего-то. – И граф хохотнул.

Амедео не знал, что на это ответить. Он просто объяснил, что искал место *il medico condotto* по всей стране и нашел его здесь.

– Ну, надеюсь, вам удастся заработать на жизнь. Откуда родом ваша семья? Эспозито – какая-то странная фамилия.

– У меня нет семьи, только приемный отец, – ответил доктор. Он говорил уверенно, так как не имел обыкновения стесняться этого обстоятельства. Хотя от вопроса, учиненного графом, и неспадавшей жары он слегка вспотел. Он провел пальцем под воротником сорочки.

– Человек без семьи? – переспросил граф. – Человек из ниоткуда – сирота?

– Меня воспитали во Флоренции в «Оспедале дельи Инноченти», приюте для подкидышей. Одним из лучших, – не удержавшись, с гордостью добавил он.

– Ну, я так и подумал. Эспозито – «брошенный».

Вернулась Кармела, за ней следом шли Риццу и его брат – с подносами. Они принесли чашки с золотым ободком, разложенные на блюде печенья и закупоренную бутылку *arancello*.

– Самый лучший, – пробормотал Риццу с подбострастием.

– Кармела, налей ликера. – И снова граф не удостоил взглядом супругу.

Она лишь кивнула, налила ликера мужу и присела чуть в сторонке, смиренно сложив руки.

– На вилле у нас есть мороженое и настоящие ликеры, доставленные из Палермо. – Граф испустил притворный вздох. – Боюсь, во всем прочем вы сочтете нас примитивными людьми, *dottore*. Ни нормального электричества, ни библиотеки. Книги портятся от морского воздуха. К тому же народ большей частью неграмотный, читать умею лишь я да священник, директор школы и бакалейщик Арканджело. И еще, полагаю, Кармела, хотя с ее модными журналами и французскими романами никто не держит ее за персону просвещенную. Ха! Я надеюсь, в приюте вам привили непритязательность, так как этот остров – настоящее испытание для цивилизованного человека.

– Истинный признак цивилизованности, – сказал Амедео, которому только что пришла эта мысль в голову, – полагаю, это наличие врача.

Тут прекрасная Кармела – к ужасу Амедео, – рассмеялась. Граф размешал кофе и впился зубами в печенье. Он откусывал большие куски, проглатывал их и отирал крошки со рта.

– Наличие врача на острове никогда не было целесообразным, – сказал он. – Мэр и совет все неправильно поняли. Это траты, которые мы не можем себе позволить. Я, разумеется, надеюсь, что вы сумеете заработать себе на жизнь, но сейчас трудные времена, и вы можете не протянуть и года, мне жаль это говорить.

Повисло молчание. Амедео встретился взглядом с Кармелой и тут же смущенно отвел глаза. Она чуть наклонилась вперед:

– Вы должны отобедать у нас на вилле. – Лицо ее почти светилось от плохо скрываемого злорадства. – Вам с мужем будет о чем поговорить.

– Весьма любезно с вашей стороны, но вряд ли у меня найдется свободное время, после того как я приступлю к своим обязанностям.

– Ну, может, вы и выживете здесь, – сказал граф. – По крайней мере, вы не привезли сюда жену и детей – вам только себя содержать. При отсутствии трат на удовольствия, возможно, вы и проживете, но так себе, скудно, по-холостяцки. Мне бы такая судьба не подошла, но вы, скорей всего, привыкнете. Весьма удобно быть сиротой, без жены и детей, не обремененным

никакими обязательствами. – И он посмотрел на жену, явно наслаждаясь тем, как повернул разговор.

– А что же вы, *signor il conte*? Вы и *la contessa* скольких детей воспитываете? – Интуиция подсказала Амедео, что детей у них нет.

Граф покачал головой:

– Моя жена бесплодна.

Кармела опустила голову, и Амедео увидел, как от публичного унижения шея ее залилась краской. Одним ударом граф указал жене ее место и заставил умолкнуть доктора. Цапнув последнее печенье, граф допил кофе и протянул руку Амедео:

– Я надеюсь, что вам удастся заработать здесь на жизнь.

– Во всяком случае, я намереваюсь, – с достоинством ответил Амедео.

Пока *il conte* удалялся через толпу, Амедео услышал печальный вздох и, обернувшись, увидел рядом отца Игнацио.

– Так, так, – произнес он. – Вот вы и пережили свою первую встречу с *il conte*. Дальше будет лучше.

– Мне немного жаль Кармелу, – сказал Амедео.

– Да, – ответил отец Игнацио. – Нам всем ее немного жаль.

Рассвет наступил раньше, чем ожидал Амедео, пробившись серым светом, но фестиваль продолжался. Амедео уже неуверенно держался на ногах и хотел лишь одного – спать, но по-прежнему сидел за столом между священником и Риццу. Тем временем музыка становилась все неистовей, а пляски все беспорядочней. Игроки за карточным столом уже много часов были погружены в партию *scopa*¹⁸. После каждой победы выигравший смахивал со стола свои карты, крики картежников становились пронзительнее, ругательства, хоть и незлые, изощреннее. При последней сдаче брат Риццу победно вскочил, воздел одну руку с зажатými в ней картами, а другой опрокинул кувшин с *limoncello*. В кругу танцоров залихватски прыгал молодой человек в жилете и крестьянском черном картузе. Затем внезапно танцующие рассыпались в разные стороны, картежники проворно собрали карты, на площади началась всеобщая суматоха.

– Дьявол! Сейчас будут цветы! – вскричал отец Игнацио и встал. – Вечно я забываю!

С неожиданной энергией он устремился сквозь толпу к статуе святой. Группа молодых парней подняла статую. В окружающих площадь домах разом распахнулись все окна.

– Что происходит? – спросил Амедео, но и Риццу тоже исчез. Амедео вдруг осознал, что на террасе бара он остался один.

Священник затянул молитву. И вдруг случилось нечто поразительное: сверху хлынул ливень из лепестков. Из каждого окна верхних этажей женщины швыряли цветы – прямо из корзин сыпались олеандры и бугенвиллеи, свинчатка и жимолость, и вскоре все пространство площади заполнилось цветами. Дети кричали и прыгали, *organetti* и гитары наяривали, статуя святой, покачиваясь, плыла над головами. А цветы все кружились и кружились в воздухе.

Внезапно Амедео подумал, что было бы здорово сфотографировать происходящее. Он пошарил в саквояже, вынул фотоаппарат и проворно собрал его. Установив камеру на столе, Амедео сделал свой первый снимок на острове: зернистое недодержанное изображение террасы, площади и цветочного дождя.

Несколько недель спустя он напечатает снимок в импровизированной проявочной, устроенной в чулане в доме директора школы (прекрасное убежище от лекций *il professore*). Цветы выйдут лишь белыми крапинками на сером фоне, но все же четкость изображения поразит Амедео. Красота. На снимке различимы лица тогдашних незнакомцев, которые позже станут частью его повседневной жизни: Риццу с братом рука об руку у бара, огни которого сияют

¹⁸ «Скопа» («Метла») – самая популярная в Южной Италии карточная игра, родом из Неаполя.

словно звезды, отец Игнацио перед статуей, темный силуэт *il conte*, Пина Велла в верхнем окне и в стороне ото всех – прекрасная Кармела.

Амедео потом сочтет эту фотографию знаменательной, ибо она, как и истории карточной колоды Риты Фидуччи, таила все грядущие события его жизни.

За пределами острова в тот 1914 год мир переживал медленное и неизбежное сползание к войне. Амедео этого поначалу не осознавал. Новость об убийстве эрцгерцога в Сараеве, произошедшем через несколько часов после чудесного цветочного дождя, достигла берегов Кастелламаре только тринадцать дней спустя. К тому времени остров пленил Амедео своей яркостью и живостью, он стал для него единственным реальным миром. Хотя нельзя отрицать и очевидного: в этом волшебном мире Амедео был чужаком – столь же необычным, как и великан из сказки. Он вечно стучался головой, входя и выходя из домов своих пациентов, а все кровати на острове были ему коротки, ведь сколочены они были еще для крестьян, живших в прошлом веке. Амедео пришлось сдвинуть две кровати и спать поперек, пока для него не сделали персональную кровать. (Много лет спустя для него сколотят и персональный гроб, чтобы уместить его крупное тело, – он так и остался самым высоким человеком на острове.) И хотя Амедео не сразу вписался в островную жизнь, он чувствовал, подспудно, себя здесь своим. Проснувшись на следующее утро после Фестиваля святой Агаты, он обнаружил под дверью чемодан. Отец Игнацио с первого же дня выбрал его собеседником для обсуждения новостей с континента: «Вы – думающий человек, Эспозито, у вас есть свое мнение». Престарелые братья Риццу поджидали его перед утренними обходами и угощали кофе и рисовыми шариками. Не прошло и месяца, а его мнением уже интересовались вдовы из Комитета святой Агаты (хотя он был человек нерелигиозный и шокировал их в первое же воскресенье, не явившись на службу в церковь). Синьоры спрашивали совета, какого цвета тесьму заказывать для новой хоругви, посвященной святой Агате. А после того как он успешно извлек иглы морского ежа из ступни Пьерино, Гильдия рыбаков пригласила его на торжественное открытие сезона тунца, которое проходило в *tonnara*.

В городе то и дело случались мелкие битвы, в которых следовало принять чью-то сторону (его уже убедили войти в городской совет на правах советника). Два человека на острове заразились тифом. На подходе были восемь младенцев. В день, когда Италия вступила в войну, Амедео отправился проинспектировать болото, дабы решить, можно ли его осушить, тем самым снизив опасность малярии. И вопрос болота и малярии казался куда более насущным, чем новость о войне. На Кастелламаре шла своя война – против паразитов и стихии, и она была куда важнее. Для Амедео остров был отдельной страной, не имевшей отношения к Италии, где прошли его одинокие детство и молодость.

По воскресеньям отец Игнацио учил его плавать, погружаясь в волны в своем купальном костюме из темной шерсти. По вечерам, после того как директор школы засыпал хмельным сном на террасе дома, Пина Велла рассказывала Амедео предания острова.

– Такое маленькое место, как этот остров, давит на человека, – предостерегал его отец Игнацио. – Ты этого пока не чувствуешь, но это скоро начнется. Каждый, кто приезжает сюда, не будучи здесь рожден, находит это место очаровательным. Но любой родившийся на Кастелламаре всеми способами стремится сбежать отсюда, и однажды ты тоже захочешь уехать. У меня это случилось на десятом году.

Но Амедео, привыкший к собственной невесомости, готовый к тому, что его в любой момент может навсегда унести с этой грешной земли, только радовался несокрушимости острова, его малости. Его умиляло, что пациенты знают, чем он займется, еще за час до него самого. Он не имел ничего против того, что сидящие на стульях около своих домов вдовы, прищурясь, оценивающе наблюдают за ним. Ему нравилось, что из большинства окон на острове открывается один и тот же морской пейзаж. В ширину остров не превышал пяти миль, и Амедео пересекал его из конца в конец во время своих ежедневных обходов. Он знал, в каких

лощинах днем отдыхают дикие козы, ворошил гнезда ящериц в развалинах домов за городом. Спасаясь, скопления ящериц растекались, словно вода, по стенам. Сидя у бара старика Риццу, Амедео нарисовал на обрывке листка карту острова. Одобрительно кивая, старик поправлял, указывая на неточности.

В начале весны Амедео написал приемному отцу, приглашая его вместе выпить *limoncello* в «Доме на краю ночи», – тут и вправду есть кусты бугенвиллей, писал он с жаром, в точности как и предсказывал старый доктор.

Но летом им не довелось посидеть в тенистой прохладе цветущих кустов. Амедео получил телеграмму, в которой ему предписывалось незамедлительно отправиться на север.

IV

Его отправили в окопы Трентино.

Оказавшись вдалеке от острова, Амедео особо дорожил двумя вещами: фотографией с праздника святой Агаты и своей книгой с историями. Кое-кто из коллег-медиков, вопреки правилам, взял с собой складной фотоаппарат, он же оставил свой на острове, зная, что не захочет ничего снимать там, куда едет. Ему нужна была только фотография, которая станет напоминать о доме. Он прикрепил ее изнутри к фуражке, чтобы уберечь от грязи. А грязь была повсюду, и если не было грязи, то был лед, когда не было льда, была вода, если не вода, то газ и туман. Это был мир стихий, здесь люди распадались на части, люди исходили пеной, люди кричали. В медицинской школе «Санта-Мария Нуова» его не обучали тому, как собирать людей по частям.

Блокнот с историями он хранил во внутреннем кармане кителя. Золотые лилии стерлись, кожа переплета потускнела. Но истории, как и фотография, были свидетельством существования другого мира. Его обязанности сводились в том числе к тому, чтобы напоминать пациентам именно об этом – когда надежды не оставалось. В грязном полевом госпитале он разговаривал с пехотным капитаном, потерявшим в газовой атаке зрение, расспрашивал его о доме, о семье, и в слепых глазах пациента разгоралась искра. Сначала неуверенно, а затем с жаром он говорил о себе, о родных, история его разворачивалась постепенно, заполняя пространство между ними, и в результате возникал свет, разгонявший мрак, что ждал обоих впереди.

Амедео не записывал эти истории. Ему не хотелось их запоминать. Но иногда пациента разговорить не удавалось, и тогда Амедео рассказывал свои волшебные истории из блокнота, истории, столетиями передававшиеся из уст в уста бедняками, призванные уносить слушателя прочь от серой повседневности. Историю о девушке, ставшей деревом, а затем обратившейся в птицу; историю о двух братьях, которые встретились и не узнали друг друга; историю о попугае, что рассказывал сказки. Амедео стали называть «доктор-сказочник из полевого госпиталя в Тревизо».

Иногда он рассказывал пациентам об острове. А его личной путеводной звездой было обещание, которое он дал самому себе, – выжить в этой войне и вернуться домой на Кастелламаре. К концу войны Кастелламаре остался единственным местом, в которое он верил. Все остальное поглотила удушливая мгла войны.

Он очень хотел увидеться с приемным отцом. Война все длилась и длилась, возникали темы, которых они не могли больше касаться, между ними росла пропасть непонимания, грозившая превратить их во врагов. «Может быть, именно из-за того, что ты найденыш, – писал старый доктор, – у тебя нет естественного чувства патриотизма, которое есть у твоих товарищей. И это затрудняет твое существование на войне».

«Может быть, благодаря тому, что я найденыш, – писал в ответ Амедео, – я яснее вижу фальшь».

Уже больше года он не получал писем от старого доктора. Теперь армейские открытки он просто надписывал: «С любовью, Амедео». Война закончилась, но его не отпускали. Войска страдали от испанки, так же, как и деревенские жители. Это была новая разновидность смерти, не такая, что он видел в окопах: умирали молодые и здоровые, старые и слабые; отекавшие, искаженные страхом лица, глаза, подернутые белой пеленой. Когда он наконец демобилизовался в 1919 году, ему исполнилось сорок четыре. Он ехал в переполненном поезде на юг, во Флоренцию, через опустошенные и разрушенные деревни, и его охватывало чувство беспомощности, во рту стоял соленый привкус тревоги. Но все же он повидается с отцом, потом вернется на Кастелламаре, и жизнь начнется снова – в том или ином виде.

Он напрямик направился к дому приемного отца. Дверь ему открыла изможденная женщина, а не экономка, которую он хорошо помнил.

– Эспозито? Вы имеете в виду старого доктора? Он умер. Ушел прошлой зимой. Испанка.

Римские родственники приемного отца уже увезли все его вещи. Женщина отдала Амедео только пачку армейских открыток. Она позволила ему пройти в дом и походить по комнатам. Банки с червями, маски, китовые усы над лестницей – все исчезло. Лишь остатки проволоки и темные пятна на обоях там, где некогда висели экспонаты.

– Знаете, мы все кого-нибудь потеряли, – сказала женщина не без осуждения, когда Амедео зарыдал.

В смятении он вернулся на Каstellамаре. Его предыдущее путешествие на пароходе из Неаполя, казалось, происходило в другой жизни, война оставалась для него единственной реальностью. Словно он никогда не жил со своим приемным отцом в его доме, похожем на музей, никогда не получал лицензию *medico condotto*, никогда не был учеником часовщика, или булочника, или печатника, никогда не был подкидышем. Словно он вообще не родился.

Но Каstellамаре. Здесь он жил. Память о Каstellамаре сохранилась в его душе.

Вскоре после завершения войны он получил письмо от отца Игнацио.

Здесь все очень плохо, – писал священник. – Многие молодые люди не вернулись – я насчитал по крайней мере двадцать семь человек погибших. Остальные или пропали без вести, или грозятся уехать в Америку, поддавшись всеобщей лихорадке, заразившей всех поголовно на острове. Война сделала всех неразборчивыми и жадными. Ты увидишь, что нас стало намного меньше.

Из письма священника Амедео узнал, что брата Риццу на острове больше нет – уехал в Америку. Бар закрылся, и желающих купить его не находилось. Профессор Велла погиб. Двое из сыновей Риццу погибли. Ничего не изменилось только в одном доме – у *il conte*, которого комиссовали из Трентино в 1915 году с ранением в ногу. А вскоре Кармела, писал священник, разругалась с мужем и уехала жить на континент, но была возвращена домой. Какая-то любовная история. («Остерегайся Кармелы, – предупредит его позже Пина. – Эта война свела ее с ума».)

Несмотря на рассказы отца Игнацио, Амедео не ожидал, что город настолько обезлюдел. Он прибыл на остров во время сиесты, окна во всех домах на главной улице, как обычно в этот час, были закрыты. Но Амедео догадался, что некоторые из домов закрыты навсегда: окна и двери были заколочены. Повсюду признаки запустения: стул без сиденья, засохший базилик в треснувшем горшке. В уличной пыли играли двое детей. Они показались Амедео знакомыми, он припомнил, что принимал этих близнецов из семьи Маццу.

– Магдалена, Агато, – позвал он.

Дети с опаской приблизились.

– Где священник? – спросил он. Его вдруг захлестнуло острое желание увидеть старого друга, убедиться, что хоть отец Игнацио остался прежним. Но дети не знали, где он.

Амедео прошел тем же маршрутом, что и в свой первый приезд на остров. «Дом на краю ночи» стоял заколоченный, как и писал священник, веранда заросла плющом, ступеньки скрылись под сорняками.

Он опять поселился в доме Пины. Фотографию острова он прикрепил к каменной стене в чулане. Пина, похоже, была единственным человеком на острове, кто ходил, широко расправив плечи. После смерти мужа она получила должность директора школы. По вечерам они садились втроем вместе с отцом Игнацио, выпивали и строили планы спасения острова от опустошения. Острову требовалось обновление. Им нужен был паром и стационар на две палаты. Школа нуждалась во второй классной комнате, надо было создать систему похоронного стра-

хования для стариков. Графа д'Исанту вновь избрали мэром, жаловался священник, и на острове теперь ничего не меняется. Д'Исанту почти все время проводил на Сицилии, продвигая какую-то свою непонятную карьеру с помощью друзей в Катании, он жил в своем имении в Палермо, а здесь ничего не делалось. Бар ветшал, пропавшие без вести не возвращались, никто больше не играл в карты на площади, и никто не танцевал под звуки *organetti*.

Увидев несколько недель спустя красавицу Кармелу, Амедео порадовался, что она ничуть не изменилась. Кармела подстерегла его на прибрежной дороге, где, одетая в выходное платье, прогуливалась под зонтиком. Она скорчила гримаску, демонстрируя недовольство.

– *Dottore*, вы так и не нанесли нам визит. Говорят, вы уже месяц как приехали. Здесь такая скука, не побоюсь сказать. Ни новых нарядов, ни приличной еды. Из-за испанки и гостей-то нет. Но я рада, что вы благополучно вернулись, – наверное, стали героем войны, не то что мой муж.

Амедео, не ожидавший, что ей есть дело до его благополучия, растерянно промолчал.

Она пригласила его посмотреть пещеры, историческую достопримечательность, которую он не успел увидеть перед войной. Заинтригованный, он согласился. Как только они оказались под покровом сырой темноты, она притянула его к себе и принялась целовать.

Амедео отстранился, ему стало ясно, что она выбрала его в очередные любовники – как и предупреждала Пина.

– Не беспокойся о моем муже, – прошептала Кармела ему в ухо. – Я никогда его не любила, и весь остров знает, что он деспот и идиот.

Амедео высвободился из ее объятий и, пробормотав что-то про детей Маццу, у которых жар, и пожилую вдову Донато, которую он обещал навестить до полудня, бежал прочь.

Две недели она преследовала его, подстерегая в укромных уголках острова, когда он ходил с визитами к пациентам. На пятнадцатый день он уступил, и они предались любви на холодных камнях в пещере. Он не понимал, почему она столь настойчива, но признался себе, что ни о чем не жалеет. Трудно было испытывать что-то определенное по этому поводу.

Одеваясь в темноте, Амедео на что-то наступил. Он опустился на колени и разгреб груды побелевших костей.

– Не тревожься, – со смешком сказала Кармела. – Они пролежали тут две тысячи лет. А ты думал, что рассказы о пещерах со скелетами – это очаровательные народные легенды? Пройди вглубь, и ты увидишь целые россыпи. Рыбаки не заходят сюда, боятся.

Но Амедео поспешно прошел поближе к выходу из пещеры. Они вытряхнули песок из одежды и волос, он подал ей зонтик. Одевшись и застегнув на узкой талии жакет, который, вопреки жалобам на отсутствие новых нарядов, еще хранил запах ателье, Кармела вернула себе неприступную элегантность. Она достала серебряное зеркальце и при тусклом свете привела в порядок прическу. Ее хладнокровие Амедео находил одновременно соблазнительным и пугающим. Сам он весь взмок, был выбит из колеи, голова слегка кружилась, у Кармелы же и капельки пота не выступило. Она надела шляпку, выправила ее наклон и глянула на Амедео сквозь вуаль так, будто они были чужими, – приличия восстановлены.

– Доктор Эспозито, – сказала она, – я вас задержала, вы опоздаете к следующему пациенту.

На обратном пути она показала вторую пещеру. Костей там не было, зато в сумраке светились сотни белых камней. Он узнал их – эти камешки рыбаки прибывали к лодкам на удачу.

– Как-нибудь мы встретимся в этой пещере, – сказала она. – Если тебе тут больше нравится.

В город они возвращались порознь: Кармела – главной дорогой, он – окольными тропинками и задами домов, собирая репы на шерстяные брюки. Когда он вошел в дом, Пина как-то странно на него посмотрела, но ничего не сказала.

После этого Кармела стала вызывать его в пещеры один-два раза в неделю, а когда граф был в отъезде, то на виллу. В эти вечера Амедео ловил себя на том, что кружит по городу, притворяясь, что это ему решать, принимать или не принимать вызов Кармелы. Правды ради, он не был свободен в выборе – он никогда не отказывал ей. Но в те вечера, совершая длинные прогулки по городу, он добирался до виллы после наступления темноты, убедившись, что никто его не видит. Пока он завершал свой маршрут, пробираясь по пальмовой аллее, Кармела появлялась в окне с лампой в руках. Дабы он не попадался на глаза слугам, она принимала его всегда в своей бежево-розовой спальне, где псевдобарочные херувимы резвились на потолке меж пышных облаков. Граф собирается провести электричество, сообщила она ему, но пока их встречи проходили при тусклом свете фонаря. Свидания протекали под диктовку Кармелы, и еще до рассвета она отсылала его прочь.

Однажды он снова заговорил о графе.

– Мой муж глупец, – сказала Кармела. – Я ведь и прежде ему изменяла. Даже сбежала на континент, но он заставил меня вернуться. Он заявил, что еще один мой роман убьет его. Ну что ж, именно на это я и надеюсь.

Ее легкомыслие пугало Амедео.

– Как ты можешь, Кармела?!

– Не опасайся, что он узнает. Граф ничего не замечает. Месяцами он не прикасается ко мне. Он слишком занят, выставляя себя важным политиком, и я буду счастлива, если освобожусь от него. К тому же я не уверена, что он проводит свои ночи в одиночестве. Нас обоих это устраивает. О моем последнем романе он узнал только потому, что я сама ему сказала. В любом случае, Амедео, ты услышишь о его приближении.

И это было правдой, поскольку граф приобрел авто. Это был первый автомобиль на острове (и, как впоследствии выяснилось, единственный последующие тридцать лет). Его доставили из Палермо и выгрузили при помощи канатов на маленькую пристань под громкие крики и ругательства. Теперь граф разъезжал по грунтовым тропам и каменистым дорогам острова, сидя на водительском сиденье и обливаясь потом в кожаном шлеме и очках. Так он контролировал работу своих арендаторов. При виде *il conte* в большом железном ящике, заходящемся в кашле и реве, старики осеняли себя крестным знамением.

Однажды, покидая на рассвете комнату Кармелы, Амедео услышал хриплый рев авто. Внутри у него все сжалось, он упал в траву и наблюдал, как авто, вздымая клубы пыли и освещающая стволы деревьев, пронеслось мимо.

В те дни казалось, что жизнь его не принадлежит ему. Это было странное существование, как во сне.

В тот год День святой Агаты проходил не как всегда.

С рассветом жара делалась непереносимой. Во время утренней мессы в церкви было столько народу, что муха не пролетела бы между прихожанами, и ни единого дуновения. В полдень солнце выжигало глаза, тени стали совсем короткими. Согласно традиции, статую святой Агаты должны были пронести вокруг каждой бухточки, не забыв ни единой извилины побережья: по кромке полей, принадлежавших графу д'Исанту; мимо каменных стен с бойницами на северной оконечности острова; через убогие деревушки на южном побережье. После чего занести в прибрежные пещеры (там в темноте было, по крайней мере, прохладно) и затем доставить на пристань, где статую встречали с ладаном и ворохами цветов. Но в том году на острове не было молодых рыбаков и тяжелую ношу взвалили на свои плечи старики. Статуя весила полтонны. Пожилые рыбаки спотыкались. Залитых ручьями пота стариков приходилось подкреплять вином и обтирать влажными полотенцами. Завершив процессию, рыбаки с облегчением бросились в воду, но теплая вода не могла охладить их, волны едва плескали, за исключением тех мест, где у берега торчали скалы, там море бурлило и кипело.

Лодки благословили, окрестили троих народившихся в этом году младенцев, и жители острова отправились в обратный путь на вершину холма. Пока рыбаки с трудом ползли вверх по каменистой дороге, солнце наконец зашло. Население острова собралось на площади, радуясь наступлению темноты.

Старый Маццу притащил своего самого тощего осла, чтобы продать на аукционе. Настроили гитары, стряхнули пыль с *organetti*, из кухни Джезуины появились вдовы. С самого восхода они готовили блюда с жареными анчоусами и фаршированными цуккини. Но «Дом на краю ночи» так и стоял в полной темноте. В этом году никто не играл в карты, не танцевал и не пил *arancello*. Трезвыми все разошлись задолго до наступления утра.

Осенью Амедео решил купить «Дом на краю ночи», он больше не мог видеть его заколоченные окна. После того как остров покинула добрая половина его обитателей, недвижимость стоила не дороже соли. И даже *medico condotto* мог позволить себе купить дом.

Глаза у Риццу потухли после отъезда брата.

– Этот дом разрушается, – говорил он. – Вам от него проку не будет. Невезучее место.

В конце концов Амедео удалось убедить его принять за дом пятьсот лир и курицу, и то он долго торговался, чтобы поднять цену.

Амедео занес в свою красную книжку дату покупки дома: 24 сентября 1919 года. Теперь у него был свой дом, и он надеялся обрести жизнь, которая у него почти началась, если бы ее не прервала война. Дом действительно разрушался. Амедео поселился в верхних комнатах и принялся штукатурить стены и менять просевшие двери. Следуя по стопам приемного отца, он заделался коллекционером. Он собирал истории и самые разные предметы, имеющие отношение к острову. Глиняные черепки и монеты римских времен, которые крестьяне обычно выбрасывали, он бережно подбирал и приносил в «Дом на краю ночи». Стены он украсил керамическими плитками, расписанными подсолнухами, лилиями и профилями благородных мужей и дам. Плитки, некоторым из них была не одна сотня лет, расписанные наспех, быстрыми мазками, выглядели так, будто только-только просохли. У местного художника Винченцо имелось столько предков, что разрисованных ими плиток у него было предостаточно. Раритеты горами хранились в подвале, и Винченцо охотно отдал часть Амедео, сказав, что прежде он продавал их туристам на материке, но теперь они никому не нужны и он только рад от них избавиться.

Из прибрежных катакомб Амедео принес белые светящиеся камни и выложил ими подоконники наверху. На столе в холле подобралась целая коллекция безделушек, изображавших святую Агату. Нередко ими расплачивались пациенты, чьи медицинские расходы не покрывались муниципалитетом – за прием родов или вправленную кость. Он собирал миниатюры со святой, бутылочки со святой водой, у него даже была статуэтка святой Агаты, разрывающей себе грудь, в глубине которой алело деревянное сердце. Эта статуэтка одновременно и притягивала, и пугала его. С религией у Амедео всегда были сложные отношения.

Казалось, он начинал входить во вкус, жить настоящей жизнью. Каждое утро перед обходом он прыгал в морские волны, вызывая насмешки рыбаков, ибо ни один взрослый человек на Каstellамаре не стал бы на исходе лета плескаться в море просто ради удовольствия, да еще на трезвую голову. Взираясь на холм, чувствуя, как кожу пощипывает от соли, он останавливался, чтобы прихватить белый камень или черепок для «Дома на краю ночи». Не ограничиваясь собирательством, Амедео еще и записывал в блокнот все свои приобретения и изменения, которые он производил в доме. Нижние комнаты все еще стояли сырые, верхние спальни не освещались, мебель укрывали чехлы. Поначалу все шло очень медленно. Дождливими ночами Амедео приходилось натягивать над кроватью парусину. Но и в такие моменты он бывал почти счастлив.

В первые недели осени он решил систематизировать островные легенды, мир менялся слишком стремительно, и он боялся, что они окажутся потеряны. Но только одного Амедео

тревожила их судьба. Истории были повсюду, и от него лишь требовалось бывать там, где они обитают и куда он заглядывал ежедневно в силу своих повседневных обязательств: в темные спальни, где вдовы дремали над своими четками; в пыльные лачуги рыбаков; в обветшавшие и опустевшие еще в библейские времена дома на краю города, куда забегали поиграть только дети. Истории обитали в самых темных углах. Возвращаясь из таких мест, он записывал услышанное и увиденное в блокнот.

Амедео установил свой старый фотоаппарат в единственной сухой комнате – чулане под карнизом крыши, где хранились, судя по этикеткам, ящики из-под сигарет «Модиано» и кампари. Дверь он завесил куском красной материи, как в настоящей фотостудии. На взгляд Амедео, «Дом на краю ночи» обратился в чудесный музей, совсем как дом приемного отца, – сплошь книги и любопытные вещицы, и, хотя у него не было ни жены, ни детей, он мечтал о том дне, когда украсит коридор и лестницу портретами своих многочисленных потомков.

Той жаркой осенью, вскоре после фестиваля, Амедео пришел к выводу, что связь с Кармелой его слишком уж тяготит. У него вошло в привычку беседовать со статуэткой святой Агаты – перед уходом или после возвращения домой, особенно если отлучка была связана с родами или визитом к умирающему. Хоть Амедео и не был человеком религиозным, его теперь не покидало предчувствие, что он готов наконец к встрече со счастьем. Это была все та же отчаянная жажда жизни, которая заставила его уступить притязаниям Кармелы и купить дом, – ощущение, что жизнь вот-вот переменится. Порой ночами, когда его влекло к освещенным окнам Кармелы, взгляд святой Агаты выражал печальный упрек. «Ведь ты хочешь завести жену и семью», – как бы увещевала статуя. Но у Амедео имелась лишь сомнительная связь с Кармелой, которая только разжигала аппетит – подобно жиденькому супчику, которым он перебивался в те дни, когда его пациентам нечем было ему заплатить.

Полный раскаяния, он искал утешения во встречах со старыми друзьями – священником, директрисой школы, членами городского совета – или с особым жаром принимался ремонтировать дом.

Однажды вечером, сидя на заросшей террасе и наслаждаясь густым кампари, уцелевшим на донышке старой бутылки, Пина Велла поведала ему историю «Дома на краю ночи».

– Это второй по возрасту дом на острове. Старики считают его несчастливым. Сотни лет назад проклятье плача особенно сильно донимало его. Жители острова попытались снести дом, но стены оказались настолько толстыми, что это им не удалось. Дом пережил четыре землетрясения и оползень. И тогда люди преисполнились уважения к упорному дому.

– Но почему же тогда его считают несчастливым? – спросил Амедео.

– Существуют две точки зрения, – ответила Пина. – После стольких передрыг дом мог уцелеть, только если был либо благословлен святой Агатой, либо проклят дьяволом – одно из двух. Так говорят.

Она не знала, откуда появилось название дома – *Casa al Bordo della Notte*.

– Некоторые старики утверждают, что помнят жившего здесь человека по имени Альберто Деланотте.

– Так что изначально он мог называться «Дом Альберто Деланотте». – Амедео был слегка обескуражен столь непоэтичной правдой.

– Я считаю, что он с самого начала назывался «Дом на краю ночи», – возразила Пина. – Потому что это так и есть.

Амедео огляделся. Террасу освещал одинокий уличный фонарь, вокруг которого вились комары, внутри грелись ящерицы, отбрасывая причудливые тени на плитки террасы. За фонарем мерцали умиротворяющие огни городка, еще дальше, за краем тьмы, светился берег Сицилии, окаймлявший остров с двух сторон, так что Каstellамаре в незапамятные времена мог быть ее частью – полуостровом, устремленным в открытое море. В другой стороне простиралась морская тьма, не нарушаемая ничем вплоть до самой Северной Африки.

– Не самое неподходящее место для бара, – сказал Амедео.

– Бар был тут всегда, – ответила Пина. – Первый граф не позволил открыть бар в центре города, чтобы не поощрять пьянство и азартные игры. Дом пустовал многие годы, пока Риццу не надумали возобновить старое дело. Кое-кто из стариков наотрез отказывается переступить его порог. Несчастье все же преследует это место. Смотри, что произошло с братом Риццу. Он потерял двух сыновей за два года. Понятно, почему люди считают этот дом проклятым.

– Проклятье исходит от чертовой войны, – сказал Амедео. – Старый бар тут ни при чем.

– Это правда, – тихо согласилась Пина.

Вспомнила ли она мужа? – подумал Амедео. Однако Пина лишь на минутку позволила себе погрузиться в воспоминания, накручивая на руку черную косу, но вскоре выпрямилась и сказала:

– Что ж, пора и домой.

В прежние дни дома ее ждал *il professore*. Интересно, погадал Амедео, страдает ли она от одиночества так же, как он, – совсем одна в старом доме около церкви. Соседи и с одной и с другой стороны эмигрировали в Америку. Красота Пины казалась ему отстраненной и недоступной, как у греческой статуи. Может, поэтому никто и не пытался ухаживать за ней после смерти профессора Веллы. Амедео знал, что в начале века ее отец был директором школы. Женившись на Пине, профессор Велла получил и девушку, и школу. У Пины не осталось родственников на острове – лишь рыбак Пьерино, доводившийся ей дальним кузеном.

Допивая в одиночестве кампари, Амедео жалел, что не приоткрылся ей, но Пина всегда была такой бесстрастной и холодной... Он жалел, что не рассказал ей о том, что война ввергла его в неизбежную тоску, которую он стремился развеять связью с женой *il conte*, покупкой разваливающегося дома, но которая так и не отпустила его. Особенно тяжело приходилось ночами вроде нынешней. Теперь, когда он поселился в «Доме на краю ночи», душа его будто лишилась покоя: половина ее была светлой и постижимой, а половина – темной и бездонной, как океан.

Как-то вечером в конце октября его остановил около церкви отец Игнацио.

– Зайди-ка выпей со мной кофе, *dottore*, – сказал он.

Амедео направлялся к Маццу, осмотреть воспаленный глаз у его козы (жители острова пользовались его познаниями в медицине для лечения и людей, и животных, не делая разницы). Но в голосе отца Игнацио он уловил приказ, а не приглашение, так что последовал за другом через строгую арку дома священника во внутренний дворик, тенистый, всегда прохладный и напоенный ароматом олеандра.

Отец Игнацио разлил кофе, выставил чашки с блюдами на ржавеющий столик и сурово посмотрел на Амедео.

– На этом несчастном острове пора сыграть свадьбу, – сказал он. – Об этом я хочу с тобой потолковать.

Амедео смущенно помешивал кофе.

– Ты и Пина, – произнес священник. – Я могу и прямо сказать. Женщина к тебе неравнодушна, это все видят. И посмотри на себя – сорокалетний холостяк!

Амедео исполнилось все сорок четыре, но он об этом промолчал.

– Я бы хотел, чтобы она снова вышла замуж, – продолжал священник. – Бедняжка осталась совсем одна, особенно после того, как ты съехал от нее и мыкаешься в этой старой *Casa al Bordo della Notte*.

– Но я часто вижу с Пиной, – пробормотал Амедео.

– Да, но почему бы вам не видеться каждый день как мужу и жене? Амедео, ты будешь хорошим мужем для Пины. Ты не станешь пилить ее, запрещать ей думать и читать, как это сделал бы менее просвещенный мужчина. Она согласится выйти за тебя, готов поставить десять тысяч лир. Хотя не буду утверждать, что она тебя любит. Но она к этому придет, Амедео.

Ее муж уже три года как умер. С самого начала это была не лучшая партия, ее заключили между семьями из-за дома и лимонной рощи, не из-за любви. Она замечательная женщина, Амедео, верная, смышленная. И она еще может родить тебе детишек, если повезет. Что тебя останавливает?

Амедео допил кофе и теперь пристально изучал гущу на дне чашки.

– Если только дело не в другой женщине, – сказал священник. – Не буду отрицать, до меня доходили какие-то странные слухи в последние месяцы.

– Нет, – сказал Амедео. – Нет никакой другой женщины.

– Ну тогда подумай об этом, по крайней мере. Мне больно смотреть, как вы оба слоняетесь по своим развалюхам в полном одиночестве.

Пина. Амедео шел, ощущая головокружение от странности происходящего.

Он осмотрел глаз козы на ферме у Маццу, за что был укушен за большой палец. Не имея другой валюты, Маццу всегда расплачивался продуктами, и Амедео возвращался в город с карманами, набитыми фундуком и белыми трюфелями из оливковой рощи Маццу. На ферму Дакосты его вызвали, чтобы пролечить серьезный случай запора, а к двум младшим внукам Риццу призвали разобраться с раздражением кожи. Когда Амедео пришел, мальчишки боролись в куче-мале с остальными своими братьями и сестрами. Он не сомневался, что к пятнице они все перезаразят друг друга. На этом острове повсюду были дети. У него при взгляде на них щемило сердце. Обработывая йодом маленькие воспаленные задницы отпрысков Риццу, утешая рыдающих от жжения мальчишек, Амедео на миг едва не потерял сознание. Он решил, что всему виной нехарактерная для осени жара, но на самом деле причина крылась во внезапном и жгучем желании обзавестись собственными детьми.

После этого он напрямик направился к дому Пины и вошел без стука. Пина стояла у плиты, волосы ее были собраны в пышный узел. Амедео молчал, в горле у него пересохло, он тщетно пытался выдавить любезную улыбку. В конце концов он попросту опустился на колени (у нее не было отца или брата, у которых он мог бы просить ее руки) и предложил ей стать его женой.

– Или хотя бы подумай об этом, – сказал он уныло.

К великому его изумлению, глаза у Пины наполнились слезами и она без промедления согласилась.

– Я не хочу думать, у меня уже есть ответ! О, Амедео!

Они договорились пожениться без провололочек. В последний день ноября отец Игнацио связал их узами брака перед статуей святой Агаты и всем островом.

Первую фотографию Амедео сделала Пина. Через несколько дней после свадьбы она подкараулила его с фотоаппаратом на верхней ступеньке лестницы.

– Замри! – крикнула она. – Замри! Дай я тебя щелкну!

От неожиданности Амедео застыл в нелепой позе, положив руку на пояс. Он только что вернулся с утреннего обхода и даже не успел поставить на место докторский саквояж с медицинскими инструментами. В саквояже лежала и книга с историями: вдовец Донато, которого он лечил утром, как раз закончил рассказ о том, как его тетушке были видения святой во время фестиваля 1893 года. На фотографии Амедео получился буквально лучащимся счастьем, он весь подался навстречу женщине, державшей фотоаппарат.

Они не поехали в свадебное путешествие, хотя в честь невесты Амедео отменил все вызовы, кроме экстренных, на целых пять дней. После свадьбы Пина, сложив вещи в аккуратный чемоданчик, с вязанками книг последовала за ним в «Дом на краю ночи», который принялся стремительно обретать обитаемый вид. В доме витал царственный аромат бугенвиллей, комнаты наполняли напевные звуки моря. Счастье висело в воздухе, звучало внутри стен, казалось, его можно потрогать. В первый же вечер Пина прошлась по всем уголкам дома,

заглядывая в каждую забытую комнату, открывая все окна. Амедео следовал за ней, подбирая шпильки, которые выпадали из ее кос. А на самом верху она с неожиданным озорством сдернула свой свадебный венок из олеандра, и волосы рассыпались, наполняя комнату ароматом, и он бросился хватать их большими горстями. Они носились друг за другом из комнаты в комнату. Этот дом впервые со времен войны снова познал радость.

На счастье, за всю неделю не случилось ни одной серьезной болезни, и они провели ее в блаженстве, не отвлекаясь друг от друга. Амедео радовался, что никогда не приглашал в дом Кармелу и что порвал все связи с ней. Он вознамерился стать лучше. С удовлетворением он обнаружил, что по мере того, как вскипала его страсть к Пине, воспоминания о Кармеле тускнели, подергивались дымкой, как и все прочее, что было с ним в другой жизни, до войны. Это были волшебные дни. Они ужинали на старых потрескавшихся тарелках и пили кофе из щербатых чашек, как рыбаки в море. Они никогда не открывали ставни раньше полудня и занимались любовью где придется – на отшлифованном полу, на зачехленном диване в кабинете, на соломенных матрасах в пустых комнатах.

Но с Кармелой было не так-то просто расстаться. Узнав о его скорой женитьбе, она взъярилась и пригрозила рассказать об их связи мужу, если Амедео откажется ответить ей взаимностью в последний раз, и еще последний, и еще. Против собственной воли он продолжал играть в эту игру, порывая с ней болезненно, постепенно, а не разом, как планировал. Он в последний раз пришел на свидание в пещеры – ему было стыдно признаться в этом даже себе самому – накануне свадьбы. И там, в темноте, наполненной брызгами осенних волн, он сумел наконец расстаться с Кармелой навсегда. В их брачную ночь Пина удивлялась, где это он подхватил кашель.

Вскоре после свадьбы Пина забеременела. За радостной новостью роман с Кармелой был забыт, стал чем-то эфемерным, будто и не было его никогда. Амедео не желал вспоминать о былом. Потому что, когда он вспоминал, его охватывал страх, что Кармеле так взбредет в голову рассказать мужу правду. Он благодарил Бога, что граф в те первые месяцы его брака пребывал в отлучке, и Амедео целиком и полностью посвятил себя Пине.

Возникло ли у него смутное дурное предчувствие, когда он узнал, что и Кармела приносила дары на алтарь святой Агаты за помощь в зачатии ребенка? Он уже не помнил. Те дни прошли в тумане любви и счастья. Но то, что до этого он метался между двумя женщинами – из-за слабости характера или из-за боязни скандала, – поставило его в крайне неприятное положение. Амедео надеялся, что его роман с Кармелой остался в прошлом. Но теперь он понимал, что у прошлого могут быть последствия, от которых не отмахнешься. И которые способны разрушить его жизнь.

V

К полудню по острову разнеслась новость о том, что доктор принял двух младенцев – одного у своей жены, второго у любовницы. Это был самый громкий скандал за всю историю Кастелламаре. Событие было столь захватывающим, что кое-кто даже бросил работу, чтобы следить за его развитием.

Когда слух достиг Пины, она отвернулась к стене и разрыдалась. Поначалу она даже отказалась кормить ребенка, и Амедео пришлось укачивать надрывавшегося младенца, расхаживая по комнатам. Под окнами бушевал граф, да так, что священник и мэр силой увели его с площади. Кармела же, несмотря на увещевания подруг, акушерки и слуг, лежала в постели и отказывалась брать свои слова обратно. Впервые за все время своего замужества она взяла верх над супругом и не собиралась отступать. Она повторяла, что ребенок был зачат от Амедео Эспозито. Они с доктором были любовниками в течение полугода и перестали встречаться за день до его свадьбы.

– Если этот ребенок от моего мужа, почему же тогда шесть лет, что мы женаты, у нас не было детей? – говорила она. – Он давно объявил меня бесплодной перед всем городом!

На это никто не мог ничего ответить – меньше всех Амедео, который проклинал себя за то, что даже не предположил, что проблема могла крыться в самом *il conte*.

В сложившихся обстоятельствах ему оставалось только одно.

– Я никогда не встречался с ней, – настаивал он (и отчаяние в его голосе вызывало доверие). – Я никогда не делал ничего из того, в чем она меня обвиняет. Господь и святая Агата – мои свидетели!

Пина никак не успокаивалась. Кармела стояла на своем. В «Доме на краю ночи» царил хаос и не смолкали рыдания.

Амедео был даже рад, когда обязанности позволяли ему сбежать из дома. Слезами его возлюбленной Пины уже пропитались все стены, сам он был изгнан на чердак, где спал, укрываясь парусиной, на сыром диване. В те первые дни после рождения ребенка он почувствовал себя нежеланным не только в собственном доме, но и в некоторых других домах на острове. Когда он пришел к престарелой синьоре Дакосте осмотреть ее пораженные артритом колени, она ответила, что «чувствует себя хорошо, спасибо, *dottore*», и удалилась, сильно прихрамывая. Он заметил, что Джезуина с демонстративным грохотом опустила жалюзи, когда он шел через площадь. Бакалейщик Арканджело, с которым они заседали в городском совете еще с довоенных времен, удалился в заднюю комнату и не выходил оттуда, пока Амедео не покинул лавку.

Между тем рыбаки донесли, что с Сицилии вызван доктор, приятель графа. Он прибыл с вином и марципанами в коробках. Громкие голоса допоздна раздавались на террасе виллы: граф пьяно негодовал, доктор пытался его успокоить. Кармела, очевидно, заперлась в своей спальне, граф не желал ее видеть.

На третий день доктор осмотрел ребенка и, поразмыслив, объявил, что тот всеми своими чертами вылитый *signor il conte*.

Амедео знал, что можно взять кровь у ребенка и предполагаемого отца, установить группу крови и таким (не слишком точным) способом установить отцовство. Но доктор, приятель графа, судя по всему, не читал последних медицинских журналов. В свете его заявления мнение графа претерпело радикальную перемену.

– Она хочет меня опозорить! – кричал граф. – Все это рассчитано на то, чтобы осрамить меня. Она хочет лишить меня сына и сделать посмешищем всего острова. Она объявляет о связи с этим Эспозито, безродным докторишкой в дырявых башмаках, с которым она едва ли перемолвилась словом за всю жизнь! Я этого не потерплю. Принесите мне ребенка!

Ребенка отняли от груди Кармелы и отнесли к отцу. Граф поцеловал его, стал расхваливать и, подумав, дал ему имя Андреа, свое собственное первое имя.

– Ну-ну, – произнес граф, держа младенца на вытянутых руках, потому что тот выдал неаппетитную молочную отрыжку. – Отнесите его обратно к матери. Все в порядке. Ребенок мой.

По острову разнеслась весть, что граф признал ребенка. Между доктором и Кармелой не было никакой связи, и все это клевета и ложь со стороны Кармелы, которая хотела опорочить мужа.

Старый Риццу от новостей будто ожил.

– Это чудо, совершенное святой Агатой, – сообщил он священнику. – Двое младенцев, рожденных в одну ночь! Чудо. Чудо, о котором мы молились и которого ждали с начала войны – нет, дольше, – с тех пор как святая Агата милосердно излечила ноги синьоры Джезуины!

Отец Игнацио, в тот момент, засучив рукава сутаны, подрезал кусты олеандра в своем двореке, он лишь поднял бровь.

– Близнецы, чудо-близнецы! – продолжал восторгаться Риццу. – Близнецы, рожденные разными матерями в одну ночь, бесплодной женой графа и Пиной, женщиной недетородного возраста.

– Пине вряд ли больше тридцати лет, – возразил отец Игнацио. – И рождение двух младенцев за одну ночь – это никакое не чудо, а статистика. Да, этого никогда не случалось, пока я живу на острове. Но это должно было произойти рано или поздно. Я видел обоих детей, и они друг на друга совсем не похожи.

Но что-то беспокоило Риццу.

– Послушайте, *padre*, вы верите в то, что Амедео и жена *il conte* встречались в пещерах у моря?

– Нет, – солгал отец Игнацио и срезал разом десяток бутонов с олеандра.

На следующий день к нему явился и сам доктор. Амедео рыдал, опустив голову, и отцу Игнацио пришлось выступать в роли утешителя, хотя в этой истории он склонялся принять сторону Пины.

– Полно, – сказал отец Игнацио, трогая доктора за плечо, – надо держать голову высоко, Амедео. Когда слух ползет по такому маленькому острову, где нет других тем для обсуждения, он способен разрушить репутацию, из-за него, может, даже придется покинуть остров, если ты это допустишь.

– Я переживаю только за Пину, – сказал Амедео. – Неважно, что говорят все, важно, что Пина всему этому верит.

– Поговори с ней, – посоветовал отец Игнацио. – Найди способ рассказать ей правду.

Амедео вскинул голову:

– *Padre*, правда в том, что...

Но отец Игнацио поднял руку:

– Нет, нет. Я никогда не был твоим исповедником. Я знаю, ты не религиозен. Думаю, тебе следует помириться с Пиной, а мы лучше останемся в темноте неведения. Не усугубляй ее унижение.

Когда Амедео вернулся домой, Пина спала. Она лежала, закинув за голову руку, обнажив смуглый изгиб правой груди. Ресницы ее были мокры, коса расплелась и разметалась по подушке. Амедео не мог и вспомнить, как он любил Кармелу, да и любил ли он ее вообще. Впервые, с тех пор как он приехал на остров, на него нахлынула тоска по Флоренции.

Но теперь у него был сын. Хотя с того первого утра ему не позволялось брать его на руки, он взял ребенка и понес его наверх. Мальчик был такой крошечный. Ручки, розовое личико; круглая грудка вздымалась и опускалась.

Амедео так хотел что-нибудь подарить сыну, что-то символическое. И тогда он предложил первое, что пришло в голову, – шепотом принялся рассказывать мальчику историю острова.

Первое имя, Каллитея, дали острову греческие мореплаватели, которые приплыли сюда в поисках новой родины. Имя могло означать «самый красивый» или «благодатный огонь». Оба варианта возможны, так как остров был вулканический; сиракузские моряки клялись, что видели отблески и языки пламени. Маяком он сиял во тьме, и мореплаватели повернули свой корабль и поплыли на его свет. Как только они приблизились, вершина острова начала затухать и погасла.

Путешественники высадились на берег и провели ночь в прибрежных пещерах. Вокруг лишь черная вода и звезды. Ночью взошла луна, осветив море, и путешественники были разбужены рыданиями. Плач, казалось, окружал их со всех сторон и возникал прямо внутри скал. В темноте моряки обнаружили побелевшие черепа, под ногами хрустели кости. Это были не пещеры, а могилы. Моряки поняли, что нечто ужасное произошло на этом острове.

Поселенцы обживались на новом месте, но каждую ночь их тревожили стенания и плач, вызывая кошмары. Когда это стало невыносимым, поселенцы решили не спать вовсе. И жители острова, построившие первые каменные дома, бодрствовали до рассвета, они собирались при свете костров и звезд, пели и били в бубны. То ли из-за таинственного плача, то ли из-за отдаленности острова, окруженного черным морем и мириадами звезд, все их песни были очень печальными. Никто не мог сочинить радостную песню, даже самые великие из их поэтов. Да и теперь, рассказывал доктор, песни Каstellамаре звучат для ушей чужаков настолько скорбно, что если слушать их достаточно долго, то можно сойти с ума.

Неуверенно, вполголоса, чтобы не разбудить Пину, доктор спел сыну самую красивую и наименее печальную из этих песен.

Он намеревался рассказать остальную часть истории – о том, как было снято проклятье, как крестьянской дочери Агате явилась Мадонна, как жители острова камень за камнем заново отстроили свой город, – но малыш забеспокоился и заплакал. Внизу, одновременно с сыном, словно повинувшись инстинкту, проснулась и Пина.

– Амедео, – закричала она, – где мой сын?

Он погладил щечку мальчика.

– Надо поговорить с твоей мамой, – сказал он.

Пина еще не проснулась до конца и томно улыбнулась мужу, в точности как в свое первое утро в «Доме на краю ночи». Но через миг она вспомнила о несчастье, что с ними приключилось, и изменилась в лице.

– Отдай мне ребенка!

Амедео положил младенца ей на руки. Судя по напряженной позе жены, он понимал, что ему лучше уйти, но остался.

– Пина, я должен с тобой поговорить. Я сделал тебе больно.

Она не заплакала, но и не посмотрела на него.

– Да. Сделал.

– Пина, – взмолился Амедео. – *Amore*. Скажи, как мне все исправить.

– Мне больше всего неприятна ложь, – ответила Пина, устремив на него твердый и спокойный взгляд.

И он рассказал ей правду.

Пина долго молчала.

– Ты опозорил меня перед всеми, – заговорила она наконец. – Перед соседями, перед друзьями, перед всем островом. Неужели ты думаешь, что можно поступить подобным образом и рассчитывать, что все это забудут? Здесь не большой город вроде Флоренции. Здесь люди

не забывают ничего и никогда. Тут просто больше не о чем говорить. Теперь все будут знать, включая детей и детей их детей, что ты путался с другой женщиной накануне собственной свадьбы.

– Я все исправлю, – ответил он. – Я люблю только тебя, Пина. Я докажу это.

– А не могли бы мы уехать куда-нибудь? – спросила она. – На север, во Флоренцию! Разве ты не можешь найти другую работу в большом городе, где мы никого не знаем?

– Покинуть остров? – От жалости к себе Амедео не смог сдержать слезы. Капли упали на младенца, и тот с интересом посмотрел вверх. – Нет ли какого-нибудь другого способа, Пина? Проси о чем угодно, только не об этом.

И Пина отпустила его.

Как-то днем по пыльной дороге, проходившей за фермой Риццу, примчался сын Арканджело. Амедео на кухне у Риццу осматривал кожные воспаления у его детей. Сын Арканджело съехал по склону в облаке пыли, поставил свой велосипед у ворот и, сняв кепку, влетел в кухню:

– Вас вызывают, *signor il dottore!* На специальное заседание городского совета.

Покончив с перевязкой, Амедео отправился обратно в город. Он шел по склону через заросли опунций, под ногами мягкая пыль, на плечи тяжким грузом давит жара. Взмокший Арканджело перехватил его на ступеньках ратуши.

– Вы должны ждать снаружи, – сказал он.

– Что значит «снаружи»?

– В холле. Вы не будете участвовать в заседании. Мы будем обсуждать ваше положение. – Арканджело достал платок и вытер лоб. – После того, что случилось на этой неделе, мы должны определить ваше положение на острове. Для этого *il conte* созвал специальное заседание. И вам придется снаружи ждать нашего решения.

С натужным ревом подъехало авто графа. *Il conte*, облаченный в костюм из английского льна, с мэрской перевязью через грудь, поднялся по ступеням. Не замечая Амедео, он подхватил Арканджело под локоть и увлек его в полумрак здания.

Следом, булькая от гнева, появился отец Игнацио. Амедео встретил его у входа.

– Что происходит, падре? Вы обсуждаете мое положение. Мне сказали явиться на специальное заседание, но мне ничего об этом неизвестно.

– Я сам только что услышал, – ответил отец Игнацио.

– Мне что, просто дожидаться за дверью?

– Мы с этим разберемся, Амедео, – сказал священник. – Я этого так не оставлю.

Амедео ждал, сидя на отполированной скамейке у входа в ратушу. Изнутри до него доносились громкие возмущенные голоса: кричал граф и, к его удивлению, священник.

– Черт побери! – негодовал священник. – Вы думаете, что ему можно найти замену? А что было бы с Маццу, когда они все погибли с лихорадкой на прошлое Рождество? Кто придумал осушить болото – с тех пор ни один ребенок не заболел малярией! Д’Исанту, да ваша собственная жена была бы мертва сейчас и ваш новорожденный сын, если бы не Амедео Эспозито!

Члены совета выходили из полутемного холла ратуши, громко хлопая дверями. Амедео поднялся. Впервые за все время, что он прожил на острове, он чувствовал себя приниженным и неуместным, как будто высокий рост сделал его беспомощным перед лицом напасти. Шея священника побагровела, сутана развевалась.

– Они лишили тебя должности! – сказал он. – Безобразие и nepотребство! Я не желаю больше иметь дело с этими *stronzi*!¹⁹

Арканджело выступил вперед со своими вкрадчивыми извинениями.

¹⁹ Мудаки (*um.*).

– Мне, как официальному лицу, выпало сообщить вам, что вас отстранили от исполнения обязанностей врача и ответственного за здоровье населения. Вы должны понимать, что доброе имя общественного деятеля в городе, подобном нашему, имеет наипервейшее значение.

Амедео бросило в жар, как будто у него подскочила температура.

– Я отстранен от должности? Но против меня нет никаких доказательств! Меня ни в чем не обвинили!

– И все же, – сказал Арканджело, – на ваш счет есть подозрения.

– А что же будет с пациентами, которых я не долечил? С дочкой Дакосты Агатой и племянником Пьерино, у которого сломана нога? Я завтра должен был снимать ему гипс, чтобы он мог продолжать ловить тунца. – Глупо, но он вспомнил козу Маццу, глаз которой через три дня нужно было снова вскрывать. – Как долго мне будет запрещено выполнять мои обязанности?

– Насколько мне известно, мы не можем позволить вам занимать положение, требующее доверия, без дополнительного рассмотрения.

– А как же жалование? – стыдливо спросил Амедео. Его сбережения были истощены после свадьбы с Пиной, да и ребенку было всего десять дней от роду.

– Жалования вы тоже лишаетесь, – сказал Арканджело. – Мой вам совет: поищите работу вне пределов этого острова. Мы крайне признательны вам за все, что вы здесь сделали, но лучше вам покинуть город без скандала.

Этот остров был первым местом, которое он полюбил. Но теперь Каstellамаре мог превратиться для него в маленький ад. Разве могут они здесь остаться? Если только святая Агата сотворит чудо и научит их, как выжить. Амедео возвращался домой круглым путем. Он больше не мог представить свою жизнь вне острова.

– Есть еще надежда, – сказал отец Игнацио вечером. – Господу известно, как трудно было найти тебя, Амедео. Кто еще захочет занять это место? Этот остров отрезан от современного мира и замкнут в самом себе. Не каждый сможет тут выжить.

На следующее утро граф отбыл на большую землю «по политическим делам» и вернулся через шесть дней в компании молодого человека в очках с бледной, как у англичанина, кожей – он будет заменять доктора, пока не назначат нового врача. Юноша окончил университет в Палермо и был сыном приятеля графа, бывшего герцога Пунта Раиси. Его поселили в пустом доме на виа делла Кьеза и наказали немедленно приступить к выполнению обязанностей Амедео.

Пять дней Амедео не выходил из дому, питаясь тем, что приносили ему вдовы, да четырьмя курицами, которых прислал Риццу в уплату за то, что он вылечил его детей. Пина все еще предлагала уехать с острова. Но у нее было доброе сердце, она ничего не могла с собой поделать. Видя, как он хандрит и мучается, она смягчилась и позволила ему нянчиться с ребенком, которому наконец дала имя – Туллио. В эти дни Амедео не разлучался с сыном. Он носил его повсюду, положив на плечо или прижимая к груди. В несчастье Пина словно стала сильнее, как это было с ней после войны. На шестой день она пригласила в дом друзей – отца Игнацио, Риццу и даже неодобрявшую доктора Джезуину. («Я не поддерживаю ваш поступок, *dottore*, – заявила та. – Но всем ясно, что этот остров не может остаться без настоящего врача. Только дьявол станет выживать вас отсюда».)

– Мы должны составить апелляцию, – сказал отец Игнацио.

Сидя в просторной кухне, при свете тусклой лампы и передавая ребенка с рук на руки, они составили письмо римским властям. Отец Игнацио положил бумагу в конверт и убрал под сутану, чтобы на следующий день передать через кузена Пины рыбака Пьерино в почтовое отделение на Сицилии.

Через несколько дней, после наступления темноты, в окно постучали. Это был синьор Дакоста со шляпой в руках.

– *Signor il dottore*, малышка Агата опять приболела. А новый доктор говорит, это просто лихорадка. Но лихорадка у нее была – помните? – и совсем по-другому.

Недолго поколебавшись, все-таки ему недвусмысленно запретили лечить больных, Амедео надел пальто и шляпу и последовал за Дакостой в темноту ночи.

Ферма Дакосты была самой бедной на острове, она находилась между высохшей южной частью, где не росло ничего, и недавно осушенным болотом. Девочка металась на смятых простынях рядом со своими спящими братьями и сестрами. Амедео уже некоторое время назад заподозрил у нее астму. Он велел принести таз с горячей водой и соорудил вокруг девочки занавес из влажных простыней.

– Приподнимись на локтях, подайся вперед и дыши, – наставлял он ее.

Постепенно дыхание девочки выравнивалось.

– Я больше не позволю этого нового парня, – сказал Дакоста. – Он ничего не знал про этот фокус с простынями.

– С ней ничего не случилось бы все равно. Она просто испугалась, – ответил Амедео.

– Этот чертов доктор будет пугать моего ребенка! – возмущался Дакоста. – Я не потерплю такого! Спасибо, *dottore*, я знал, что на вас можно рассчитывать. И мне наплевать, кувыркайтесь вы хоть со всеми женщинами на этом острове, – добавил он.

В последующие дни Амедео почувствовал, как барометр общественного мнения опять склоняется в его сторону. Столкнувшись с новоприбывшим чужаком, жители острова немедля сочли Амедео своим. Некоторые нарушали запрет и тайно, переулками и обходными путями, шли к Амедео, чтобы вызвать его к заболевшим домочадцам. Но это были самые бедные люди на острове, обычно они не платили за лечение, их расходы покрывались зарплатой Амедео, которую он получал от *comune*²⁰. Денег у них не было, а даров в виде овощей или тощих кур не хватало, чтобы прокормить взрослого мужчину с женой и ребенком.

– Мы могли бы переехать во Флоренцию, – говорила Пина. – Жили бы в городской квартире с горячей водой в настоящем водопроводе, покупали газеты в киоске за углом, по утрам слушали соборные колокола, а потом послали нашего ребенка в настоящую школу и в университет. На Кастелламаре никто никогда не учился в университете. Я не уверена, хорошо ли это – растить ребенка на острове. Не покинет ли он потом нас? Не уедет ли в другой город или на войну и мы больше никогда его не увидим? Я бы уехала, – с горечью добавила она, – если бы была мальчиком.

– Дай мне время, и я все исправлю, – отвечал Амедео, отодвигая тот день, когда ему придется подумать о том, чтобы уехать с острова.

В первую ночь октября он задумался о доме. Раньше здесь был бар, почему бы не открыть его снова? Амедео призвал своих друзей.

– Что насчет «Дома на краю ночи»? – спросил он. – Я мог бы открыть бар и этим зарабатывать на жизнь.

– Но дом разваливается, – возразил Риццу.

– Можно подлатать, – настаивал Амедео. – Я сумею.

– Ну-у, – протянул Риццу, – никто не придет в этот старый бар.

Отец Игнацио заговорил после задумчивого молчания:

– Я не уверен в успехе, но идея стоящая. Д'Исанту пытается выжить тебя с острова. Тебя не восстановят до тех пор, пока он будет мэром. Но он ничего не сможет сделать с тобой, если ты займешься чем-нибудь другим. Если выберут Арканджело или кого-то другого, ты сможешь

²⁰ Коммуна (ит.).

получить обратно свое докторское место и все вернется на круги своя. Почему бы тебе не сменить профессию, пока суд да дело?

Амедео ждал, что скажет Пина, ему требовалось ее одобрение. Ему казалось, он видит, как перед ее глазами пролетают колокола собора, торговец газетами на углу улицы, квартира с горячей водой и университет для сына. Наконец она подняла голову и кивнула.

И тогда он понял, что, возможно, она все еще любит его.

– Я все устрою, – пообещал он. – Я обо всем позабочусь. Риццу, покажи мне, что надо делать с баром.

– Вот это была барная стойка, – объяснял Риццу, указывая на старую доску, прислоненную к стене и густо покрытую пылью. – Здесь в витринах под стеклянными колпаками лежали рисовые шарики, печенье, шоколад. Мой брат собирался поставить аппарат для мороженого, но у него так и не хватило денег на первый взнос. Дальше стояли столики, их было десять. Также в баре продавались сигареты, ликеры, спички, *aperitivi*²¹, мятные таблетки, фиалковые пастилки от Леоне, зубочистки, лезвия для бритв, женские шелковые чулки (слишком дорогие – ни одной пары не купили) и американская жвачка. Брат готовил бутерброды для посетителей и подавал кофе в чашках без ручек. Чашки должны быть где-то в чулане, так что тебе не придется покупать новые. Наша старушка-мама, упокой Господь и святая Агата ее душу, готовила рисовые шарики и печенье и приносила их к пяти утра, и брат торговал ими весь день. Это были самые лучшие рисовые шарики на острове, лучше даже тех, что делает синьора Джезуина.

Амедео не имел представления о том, как готовить рисовые шарики, и сомневался, что их умеет готовить Пина, поэтому просто кивал и записывал все в красную книжку.

– Еще у брата были газеты, – с гордостью добавил Риццу. – С Сицилии. Он платил рыбаку Пьерино, чтобы тот доставлял их на своей лодке. Они были всего лишь недельной давности, иногда двухнедельной, если море штормило. Люди приходили сюда, чтобы почитать свежие новости. Сначала он просил за чтение газеты десять *centesimi*²², но люди сказали, что это алчность.

Амедео стер пыль с зеркал позади стойки. На каждом из трех зеркал проявилось название – *Casa al Bordo della Notte*, написанное красивым витиеватым шрифтом. За окном, за зарослями бугенвиллей, море словно парило в воздухе, испещренное черными бриллиантами рыбацких лодок.

– Это все можно устроить, – сказал Амедео.

В ту зиму он каждый день трудился, что-то отмывал, оттирал, его легкие были буквально забиты пылью старого дома. Он смутно ощущал, что взялся за осуществление миссии не менее великой, чем та, что возложили на себя древние островитяне, перестроившие камень за камнем весь город, чтобы избавиться от плача в стенах.

Джезуина, передвигаясь по кухне на ощупь, обучала Пину, как приготовить рисовые шарики и печенье, как добиться идеальной крепости кофе и сварить чашку шелковисто-мягкого какао.

– Ты должна все это запомнить, девочка моя, – толковала Джезуина, – потому что когда доживешь до моего возраста, то и ты не будешь повторять по два раза.

Пина записала рецепты своим четким учительским почерком в школьную тетрадку, а потом вручила ее Амедео.

– Это твой бар, – сказала она. – Мне хватит забот с Туллио и со следующим ребенком. Так что ты уж сам делай печенье и рисовые шарики.

²¹ Аперитивы (*ит.*).

²² Мелкая итальянская монета, 1/100 лиры.

Но хотя она и говорила категорично, открыв тетрадь, Амедео увидел, с какой тщательно-стью она записала каждый рецепт, насколько аккуратными и полными заботы были заметки на полях: *рис хорошо высушивай и не пересаливай, добавь пол-ложки жира, охлажденного, если тесто слишком мягкое*. Видя все это, он чувствовал, как в нем зашевелилась надежда.

И она упомянула о втором ребенке. Еще один повод для надежды.

Он позволял Пине во всем поступать по-своему. Во-первых, она дала имя ребенку. Туллио звали ее отца, и Пине нравилось его латинское звучание («это имя для человека с достоинством»). А также разговор про второго ребенка, который она завела так скоро после рождения первого. Его будут звать Флавио, уже решила она. Третий станет Аурелио. Это в честь двух ее дядей. Потом, предполагала Пина, на очереди девочка.

Однажды, когда Амедео был погружен в работу, сметая густую паутину с потолка, мимо окна, толкая перед собой коляску с ребенком, прошла Кармела.

Амедео замер на стремянке. Ребенок в коляске расплакался. Кармела взяла его на руки, и Амедео увидел тонкую ручку, прядь черных волос и бледное личико, искривленное от плача.

Ребенок показался ему болезненным и несчастным. Он с гордостью подумал о своем Туллио, который с аппетитом сосал грудь и прибавил уже четыре фунта. Амедео понял, что не может не проклинать Кармелу. Он был рад, когда она наконец скрылась.

Они с Пиной и Туллио существовали почти целиком за счет милости соседей. Амедео, который за всю жизнь не выпилил полки и не вбил гвоздя, пока не стал владельцем «Дома на краю ночи», теперь все делал сам. Иногда, спускаясь со стремянки, он ощущал слабость, легкое головокружение. Все лучшие куски он отдавал Пине, чтобы ни она, ни ребенок не ослабли. Однажды, разливая суп, она положила ладонь ему на шею, и он почувствовал, как кожа у него пошла мурашками от благодарности. Это больше никогда не повторилось, но дало ему третий повод надеяться. Нет сомнений: когда бар будет готов принять посетителей, она задумается о прощении.

Одолжив немного денег у друзей, он заказал припасы на Сицилии: кофе, ингредиенты для печенья и рисовых шариков, несколько ящиков сигарет. Как только он начнет зарабатывать деньги, он закажет еще. Рыбак Пьерино, в качестве услуги Пине, согласился каждые две недели доставлять заказанное с большой земли, и Амедео пообещал расплатиться с ним после того, как бар начнет приносить прибыль. Когда первая партия товаров прибыла, он был обескуражен тем, как жалко она выглядела. До трех часов утра он трудился на кухне, наполняя блюда рисовыми шариками и крошечными печеньями. В детстве, когда он работал в часовой мастерской, его пальцы были слишком неуклюжими, но он научился извлекать пули из раненых солдат, принимать недоношенных младенцев размером меньше его ладони – он научился пользоваться своими пальцами.

Ветреным мартовским днем 1921 года бар «Дом на краю ночи» открылся.

Часть вторая

Мария-Грация и человек из моря

1922–1943

* * *

Дочь короля должна была выйти замуж за богатого капитана, который взял ее как трофей, когда спас от морского чудовища. Истинным спасителем был юнга, но вероломный капитан вышвырнул юношу за борт, и с тех пор дочь короля не переставала его оплакивать. Она обещала юнге выйти за него замуж и даже подарила ему кольцо, но юноша сгинул в морской пучине.

В день свадьбы моряки в порту увидели, как из моря вышел человек. С головы до ног его покрывали водоросли, а из карманов и прорех в одежде выпрыгивали рыбы и креветки. Он выбрался из воды и, спотыкаясь, побрел по улицам города, морские водоросли шлейфом тянулись за ним. В этот же самый час по улице двигалась свадебная процессия, с которой и столкнулся человек из моря. Все остановились.

– Кто это? – спросил король. – Схватить его!

Стража выступила вперед, но человек, покрытый водорослями, поднял руку, и на его пальце сверкнул алмаз.

– Кольцо моей дочери! – воскликнул король.

– Да, – сказала девушка. – Этот человек спас мне жизнь, и он мой настоящий жених.

Человек из моря поведал свою историю. Водоросли, составлявшие его наряд, не помешали ему занять место подле невесты, облаченной в белое платье, и соединиться с ней в браке.

Лигурийская история, рассказанная мне вдовой Джезуиной, чей кузен жил в Чинкве-Терре. После того как она пересказала ее множество раз, на острове принялись гулять разные версии этой истории, хотя синьора Джезуина не помнит ни ее начала, ни конца. Этот отрывок я позаимствовал, с разрешения Джезуины, из сборника народных сказок синьора Кальвино²³, изданного в 1956 году.

²³ Выдающийся итальянский писатель Итало Кальвино (1923–1985) в 1954 г. совершил путешествие по стране, собирая народные сказки на самых разных диалектах, в 1956-м он издал сборник из 200 сказок, переведенных им на итальянский язык.

I

Кармела с ребенком явилась к дверям бара через месяц после его открытия. Амедео как будто почувствовал порыв ветра и, повернувшись, увидел, кто пришел. Он почти забыл, как она выглядит, но, без сомнений, это была она – красавица-жена *il conte*, его бывшая любовница, фигурой напоминающая прекрасную вазу. Полдюжины посетителей развернулись на своих стульях и уставились на нее.

– Я пришла поговорить с синьором Эспозито, – объявила Кармела.

Амедео ощущал на себе взгляды всех присутствующих. Пина положила руку ему на плечо и пересадила крепыша Туллио с одного колена на другое.

– *Signora la contessa*, – сказала она, – ему... нам не о чем с вами разговаривать.

Кармела засмеялась – тем же смехом, оскорбительным, недобрым, который он слышал в ночь своего прибытия на остров.

– Пусть он сам решает, *signora*, – сказала Кармела.

Но Пина шагнула вперед, держа Туллио перед собой. Кармела взяла на руки своего болезненного Андреа и тоже подняла его перед собой – точно щит. Туллио посмотрел в глаза незнакомому мальчику и широко улыбнулся ему.

– И больше никогда не приходите в этот бар, – сказала Пина. – Ни вы, ни ваш муж, ни ваш сын. Вы уже достаточно несчастий принесли этому острову.

Кармела попыталась встретиться взглядом с Амедео, но тот смотрел в окно, на синюю гладь моря, чувствуя, как в ушах пульсирует кровь. Кармела удалилась. Когда она пересекала площадь, он позволил себе посмотреть на нее. Через оконное стекло она показалась ему обычной, ничем не примечательной женщиной с ребенком на руках, с трудом ковыляющей на каблуках по булыжной мостовой.

– Больше ни один д'Исанту не появится в нашем баре, Господь и святая Агата мне свидетели! – твердо произнесла Пина.

Через полгода бар начал приносить прибыль. И тем же летом Пина наконец пригласила Амедео обратно к себе в постель – в спальню с каменным балконом над двориком.

– Давай больше не будем говорить о Кармеле д'Исанту, – сказала Пина, и Амедео всем сердцем согласился с ней. Он готов был на все, о чем бы Пина ни попросила.

К концу года уже мало кто из посетителей упоминал о Кармеле в присутствии Амедео. Пина, как всегда, сдержала свое обещание и одного за другим родила еще двух сыновей. Она назвала их в честь своих дядей – Флавио и Аурелио. К моменту рождения третьего мальчика никто на острове не вспоминал о давней истории с Кармелой.

– Потому что сердце этого острова вновь на стороне «Дома на краю ночи», – объяснила Джезуина. – И это правда.

Пина замечательно справилась с рождением троих детей, они появились на свет в течение четырех лет, и она целиком посвятила себя их воспитанию. Годы спустя, когда Амедео пытался вспомнить тот период их жизни, в памяти всплывал клубок цепких пальчиков и теплые, пахнущие молоком волосы сыновей. Он много часов проводил за стойкой бара под звон стаканов и стук костяшек домино, запах бугенвиллей и звяканье монет в кассе. В те годы он начал верить, что жизнь его стала лучше, чем во времена, когда он был *medico condotto*. Когда он видел, как молодой лысеющий доктор Витале в штанах с лоснящимися коленками тащится мимо его окон, он с трудом подавлял в себе злорадство.

Хотя Амедео по-прежнему было запрещено заниматься врачебной практикой, люди обращались к нему за помощью, украдкой приходили во двор или шептались через стойку бара: «*Signor il dottore*, моя Джизелла по-прежнему мучается артритом», «*Signor il dottore*, этот молодой доктор Витале неправильно вправил ключицу моей племяннице, после того как она упала

со стремянки. Я точно знаю. Она щелкает и выпадает всякий раз, когда племянница моет посуду. Вы должны посмотреть». А некоторые семьи, как, например, Маццу или Дакоста, открыто не доверяли новому доктору и обращались за советом к Амедео по каждому пустяку. Эти люди вполне открыто называли Амедео *signor il dottore*, именуя доктора Витале не иначе как *il ragazzo nuovo*, новый парнишка.

У молодого доктора имелось образование, но ему не хватало авторитета и опыта, считал Амедео. Ему никогда не приходилось при свете свечи в залитом водой окопе фиксировать сломанное бедро или принимать роды на застланном соломой полу. Если у молодого доктора возникали сомнения (о чем шепотом, словно какую-то скандальную новость, сообщил Маццу, перегнувшись через стойку бара), то он вытаскивал из саквояжа одну из своих толстых книг и смотрел там! В книге! Доктор Эспозито отродясь не таскал с собой книги!

– Да, но я читал их, – возразил Амедео. – И журналы, и все, что мог.

– Пусть так, но вы не делали этого в присутствии своих пациентов! Как ему можно доверять? Вычитывать про болячки в книге – разве ж это достойно?!

В конечном итоге Амедео нашел выход, давая бесплатные консультации за чашкой кофе с печеньем в баре или, в более серьезных случаях, в прохладном сумраке своего кабинета, пряча потом медицинские инструменты в старом ящике из-под кампари, чтобы избежать подозрений. Так как платили ему главным образом провиантом, он убедил себя, что продолжать консультировать жителей острова – совсем не то же самое, что лечить больных. По совести говоря, он ведь нынче просто владелец бара, а если и дает полезные советы, то он уж точно не первый хозяин бара в истории, который поступает подобным образом.

Дом по-прежнему разваливался, но теперь у Амедео появились деньги, чтобы повернуть этот процесс немного вспять. Он поменял ставни, оштукатурил вечно сырые углы в комнате мальчиков. Родственник Пины, рыбак Пьерино, который, как только заканчивался сезон, брался за любую работу, заново выложил террасу плитками, раздобытыми в старых заброшенных домах. Эти плитки, в ржавых потеках и трещинах, выглядели так, будто кто-то нарисовал на них географические карты. Амедео они очень нравились, и он попросил Пьерино выложить ими и пол в ванной комнате, которую надеялся модернизировать и провести туда горячую и холодную воду, как мечтала Пина. Амедео самолично постриг бугенвиллеи, и они зацвели. Каждый раз, когда кто-нибудь открывал или закрывал вращающуюся дверь бара, с порывом горячего воздуха внутрь влетал тонкий аромат.

Когда Туллио было четыре года, упитанный Флавио уже начал ходить, а Аурелио был еще младенцем, Пина забеременела снова.

С этим ребенком все было по-другому. До того Амедео не видел, чтобы Пина плохо переносила беременность, но на этот раз она давалась ей тяжело. Лодыжки у нее отекали так, что едва ходила, руки воспалились и не сгибались. Есть она могла только крошечными порциями. В жаркие часы после полудня Пина то и дело засыпала, так что Амедео без конца бегал на детские вопли, доносившиеся из дальнего конца дома, где мальчишки, предоставленные самим себе, устраивали бурные потасовки. Ему приходилось разнимать Флавио и Туллио, выуживать орущего Аурелио из корзины с бельем, куда его запихнули старшие братья, или выковыривать цикад из мальчишечьих вихров.

Было ясно, что надо что-то предпринять.

– С детьми надо что-то делать, – сказал Амедео однажды вечером. – Так продолжаться не может.

Но Пина, пребывавшая в апатии, не откликнулась. Из-за своего болезненного состояния она, казалось, не замечала, что мальчики вышли из-под контроля. Все еще прекрасное, ее лицо приобрело отсутствующее выражение, Амедео даже боялся смотреть на нее. Прежде она неизменно была несокрушимой, как греческая статуя.

Выход был найден в лице Джезуины, согласившейся присматривать за детьми, и Риццу, вызвавшемуся помогать Амедео в баре.

– Не ради денег, – сказала Джезуина, – а ради любви. Но от денег я тоже не откажусь.

Совершенно слепая, она тем не менее довольно ловко передвигалась по дому. Она могла убаюкать Аурелио за пять минут, напевая дребезжащим голосом колыбельную. Если двое старших дрались, она подкрадывалась к ним сзади и останавливала их громким рыком: *Basta, ragazzi!*²⁴ После четырех или пяти таких окриков они перестали драться совсем. И мигом подобревшая Джезуина принялась потчевать мальчишек сладкой *ricotta* со свежими фигами.

Джезуина с Пиной успешно справлялись с ребятами, а Риццу и Амедео поддерживали порядок в баре. И вот наступила осень. У беременной Пины возникали очень странные желания: ей хотелось то пожевать землицы, то веточек, которые упали из иволгового гнезда на платане, росшем во дворе. Джезуина предрекла, что родится девочка.

– Необычные желания всегда указывают на девочку, – сказала старуха, и спорить с ней никто не стал. И будущего ребенка отныне звали исключительно «она».

Амедео планировал, что четвертый ребенок родится в сиракузской больнице. Его инструменты устарели, некоторые заржавели и пришли в негодность. Медицинские издания он не открывал с 1921 года. Словом, принимать у жены роды он опасался. Он принял двоих из своих сыновей, но взять на себя эту миссию в третий раз был не готов.

– Когда ребенок будет на подходе, мы сядем на лодку Пьерино и поедем на большую землю, – говорил он, лежа рядом с Пиной, расчесывая ее черные косы, глядя усталые плечи. Наступил ноябрь, и первый зимний шторм уже бился в окно. – Я доставлю тебя в больницу, где ты пробудешь, пока не родится ребенок.

Все уже было обговорено: на Сицилии у Риццу имелся кузен, на ферме которого Пина сможет пожить, а жена кузена за двадцать лир в день станет присматривать за ней. Как только наступит момент, кузен с женой отвезут Пину в больницу на авто их соседа.

Но когда Амедео поделился своим планом с Пиной, она засопровтивлялась.

– Это все Джезуина со своими предрассудками, – вздохнул Амедео. – Знаешь, рожать в больнице вполне безопасно. Не стоит слушать старухиных глупостей. Джезуина никогда в жизни не видела современной больницы. Она боится электрических лампочек, врачей в белых халатах и запаха дезинфекции – вот и все.

– Не в этом дело, – возразила Пина. – Я не против больницы. Нет, просто у меня предчувствие.

К предчувствиям жены Амедео относился серьезно. Не она ли предвидела рождение Аурелио и Флавио – два мальчика, сказала Пина, а потом, возможно, девочка?

– Я знаю, что моя малышка родится здесь, на острове, как ее братья. Появится, когда посчитает нужным, и произойдет это прежде, чем мы успеем подготовиться. Я знаю.

И, как показали дальнейшие события, Пина была права. Ребенок родился внезапно, его будто вынесли потоки воды и крови на восемь недель раньше срока.

Сначала он услышал вскрик Пины.

Бар от кухни отделяла занавеска, которую Амедео повесил в первые тревожные месяцы беременности жены. Та к они могли слышать, как возятся сыновья на полу в кухне. Из-за занавески раздалось шарканье Джезуины, она позвала:

– Где вы, *dottore*?

– Здесь я, здесь.

– Лучше вам поскорей закрыть бар и поторопиться к бедняжке Пине.

²⁴ Хватит, ребята! (*um.*)

Посетители возбужденно загалдели. Джезуинахватила сковородкой о стойку, разогнала игроков в домино, выставила всех под осенний дождь и решительно захлопнула ставни, ограждая дом от любопытных глаз.

Пина стояла на кухне в луже, придерживая обеими руками живот.

– *Amore?* – Амедео хотел обнять жену, но она отмахнулась от него.

Пина беспорядочно кружила по дому, Амедео только и оставалось, что следовать за ней. Она поднималась по лестнице и спускалась, через кухню ковыляла в бар и назад, оставляя за собой кровавый след. В отчаянии Амедео сыпал вопросами:

– Когда начались боли, *amore*? Как долго они продолжаются? Насколько сильно болит? Боли такие же, как при родах Туллио, Флавио и Аурелио, или на этот раз по-другому болит? Скажи мне, *amore*. Ты пугаешь меня. Ты пугаешь детей.

В самом деле, малыш Флавио замер в дверном проеме кухни, наблюдая за родителями расширенными глазами. В спальне, оставленный всеми, надрылся Аурелио.

– Слишком рано, – подвывала Пина, – она выходит слишком рано. Я должна остановить роды – или она умрет. У нее срок в феврале, а сейчас начало декабря.

Но Амедео понимал, что роды не остановить.

– Ляг, *amore*, – просил он. – Надо тужиться. Ничего не поделаешь, ребенок родится сейчас.

Джезуина была с ним согласна.

– Дыши, – увещевала она. – Тужься. Дыши, *cara*²⁵. Тужься.

– Нет! – кричала Пина. – Не буду тужиться! Я не должна, не могу!

– Я принесу святую Агату. – И Джезуина заковыляла в холл.

Но прежде чем они что-то успели сделать, Пина повалилась на пол, подле стола для домино. Амедео едва успел подставить руки и принял ребенка.

– Дышит! – воскликнул он. – Пина, она дышит!

– Такая маленькая! – расплакалась Пина. – Маленькая. Слабенькая. Амедео, она не выживет, и я этого не перенесу.

– Она будет жить, – страстно сказал Амедео, обтирая младенца. – Она будет жить.

Но внутри у него все сжалось от страха, когда он как следует разглядел новорожденную. Тоненькие вены под кожей на голове, розовое прозрачное тельце. Ему редко приходилось принимать таких маленьких младенцев, и почти все они были мертворожденные. В больнице, корил он себя, знали бы, что делать. Но сейчас уже поздно – этому ребенку не пережить путешествие морем, в зимний шторм, на лодке Пьерино. Она будет жить или умрет здесь, на острове. Иного не дано.

– Как мы ее назовем? – спросил он, быстро расстегивая рубашку и прижимая дрожащее тельце к груди. Он не знал, как еще может согреть новорожденную.

– Я не могу дать ей имя, – рыдала Пина. – Я не могу даже взглянуть на нее. Не сейчас. Особенно если ей не суждено жить.

Амедео оказался не готов к этому четвертому ребенку. Девочка была слишком слаба, чтобы сосать материнскую грудь, ее приходилось кормить из серебряной крестильной ложки Аурелио. Пина все не могла успокоиться, ее как будто подкосило. Амедео закрыл бар и сам заботился о малышке. Его мир сжался так, что в нем помещалась только дочь. Днем он расхаживал по дому, прижав девочку к груди, ночами сидел у ее колыбельки, под которую для тепла ставил горшок с тлеющими углями. Девочка родилась в дождливую зиму, и любой сквозняк мог стать для нее смертельным. Она едва могла плакать. Просвечивающие вены на головке

²⁵ Милая (ит.).

казались такими тоненькими, а крошечные ушки были в ссадинах после родов. Ночами, когда она не спала, Амедео рассказывал ей истории – все, какие знал.

Он поведал ей историю о девочке, которая обратилась в яблоко, потом в дерево и, наконец, в птицу. Он рассказал сказку о попугае, который без перерыва болтал с молодой женщиной и в результате спас ее. Он вспомнил сказку Джезуины о мальчике, заключившем договор с дьяволом ради спасения своего отца. Отец мальчика поправился, мальчик отправился по миру, стал богатым и удачливым, великим королем и так полюбил мир, что забыл о своем договоре. Через десять лет, когда дьявол пришел за ним, мальчик не захотел уходить. В те призрачные ночи, сидя в комнате на чердаке, слушая далекий рокот волн, Амедео начинал верить, что все эти истории каким-то непостижимым образом были про него и его дочь, что они оба вовлечены в какую-то древнюю битву, которая повторялась снова и снова, как битва, о которой говорилось в тех сказках.

Он рассказал ей, как и когда-то ее брату Туллио, историю острова. О пещерах, о проклятье плача и крестьянской дочери Агате, изгнавшей проклятье и ставшей святой, покровительницей несчастных.

Амедео, который никогда не был религиозным человеком, поймал себя на том, что стал суеверным. Мысли о жизни после смерти никогда прежде не посещали его, теперь же ему не терпелось окрестить ребенка.

– Ты сам дай ей имя, – сказала Пина. – Я не вынесу, если назову ее, а Господь и святая Агата заберут ее.

Он склонялся в пользу небесных имен: Анджела, Санта, Мадоннина. В конце концов остановился на Марии-Грации. Так звали бабушку Пины. Он также дал девочке второе имя, Агата, – в надежде, что святая не поскупится подарить ему взамен немного удачи. В первые ночи после рождения дочери он с удивлением и стыдом обнаружил, что молится статуэтке.

– Пресвятая Агата, – шептал он, – если это кара за мой грех с Кармелой, накажи меня другим способом. Возьми что-нибудь другое за прегрешения, которые я совершил на этом острове, только не забирай малютку.

В отчаянии он думал, что ему было бы легче перенести потерю жены или сыновей, чем потерять это хрупкое дитя, которое он едва знал, – дитя, которое все еще должно было находиться в утробе Пины со сжатыми кулачками и закрытыми глазами.

Мальчики чувствовали, что что-то не так. Они не носились по лестнице и не сражались на палках во дворе. Однажды они случайно разбудили малышку, кинув резиновым мячиком об стенку в детской, и гнев отца был столь безудержным, что напугал всех, даже Джезуину. Он распахнул окно и зашвырнул мячик в заросли колючек. С того дня мальчики притихли, и даже малыш Аурелио, казалось, понимал, что его сестра пребывает меж жизнью и смертью.

Все это время бар стоял закрытым, а Джезуине удавалось удерживать на расстоянии соседей с их печеными баклажанами и жадой сплетен. Но в городке все знали, что четвертый ребенок доктора Эспозито и Пины Веллы умирает.

Когда малышке исполнилось десять дней, Амедео попросил отца Игнацио окрестить ее. После чего вся семья собралась вокруг колыбельки и сфотографировалась. Снимок напечатали лишь через несколько месяцев, когда кризис остался позади. Позже, проходя по лестнице мимо этого снимка, Амедео неизменно чувствовал, как его бросает в пот. На снимке она была – да, да, такая маленькая и хрупкая! – с закрытыми глазками и стиснутыми кулачками. Когда дочь спала, Амедео, охваченный страхом, прижимался ухом к ее груди и слушал тихие всхлипы дыхания.

Про бар Амедео даже не вспоминал, но в конце зимы заведение частично вновь заработало. Он не мог думать ни о чем, кроме дочери. Она засыпала только у него на руках, пила молоко из ложечки, только если ее держал он. Риццу трудился в баре после обеда, Пина – когда могла убедить мальчиков тихонько поиграть позади стойки, а по вечерам, когда дочь больше

всего капризничала, а Риццу уходил сторожить поместье *il conte*, Амедео предоставлял посетителям самим наливать себе выпивку и брать сигареты, а деньги оставлять в коробке на кассе.

Риццу прилепил на крышку коробки открытку с изображением святой Агаты с кровоточащим сердцем.

– Чтобы застыдить всех до честности, – объяснил он. – Ни один житель на Каstellамаре у вас и так ничего не украдет, тем более, если увидит благословенное лицо святой.

Вдобавок Риццу украсил коробку четками, высверлил две дырки в крышке и вставил в них большие восковые свечи. Еще он одолжил у отца Игнацио маленькое деревянное распятие и прикрепил его к крышке изнутри – на случай, если кто-нибудь опуститься до того, чтобы открыть коробку.

То ли вид блаженного лика святой, то ли страх обжечь пальцы сыграл роль, но никто ничего из коробки не украл. Все исправно платили за выпивку, и бар кое-как продолжал работать.

Только на исходе января дочь набралась достаточно сил, чтобы брать материнскую грудь, но к тому времени молоко у Пины пропало. Девочка уже могла недолго сосать из бутылочки через резиновую соску – и вдруг принялась расти и крепнуть на глазах изумленного Амедео. Однако все же ее жизнь оставалась под угрозой. Две недели ее изводил кашель, а когда прошел, девочка вдруг сделалась желтой. Амедео выносил ее на террасу, устраивал у себя на коленях и подставлял под лучи солнца, прикрыв глаза платком, – пока желтушность не сошла.

Каждое утро он взвешивал дочь на весах на стойке бара и как-то в феврале 1926-го увидел, как медная чаша весов слегка качнулась. На следующее утро чаша уверенно поехала вниз. Ребенок начал по-настоящему расти.

К весне малышка набирала вес с той же скоростью, что и другие его дети. Летом она впервые улыбнулась. Вскоре после этого научилась переворачиваться на живот и попыталась ползать.

Амедео видел, что ножки у девочки не развиваются как положено. Он и раньше это подозревал, но теперь, когда она перестала отставать в развитии и окрепла, это стало очевидно. Она могла только ползать, передвигаясь по полу с помощью рук – точно ящерица. Ей как минимум понадобится корсет. Но ни это и ничто другое не имело значения по сравнению с тем, что она будет жить. Неохотно Амедео вернулся к своим обязанностям за стойкой бара. Малышку он брал с собой, она ползала по одеялу, расстеленному на полу, или спала у него на руках, пока он разливал кофе и подавал печенье, что вызывало насмешки крестьян и восхищение их жен.

Вопреки ожиданиям, Мария-Грация росла жизнерадостным и энергичным ребенком. Ползая по полу, она смеялась. Все ее радовало: солнце; связка ключей от «Дома на краю ночи», которую ее отец подвесил на веревочке и которая позвякивала у нее над головой; ветка бугенвиллеи с прохладными лепестками, которую принесла Джезуина. Пожилые посетители бара хлопотали над ней, обещая помолиться за нее и принести одежду, оставшуюся после их внуков. Стоило отцу отвернуться, они все норовили накормить ее сладкой *ricotta* и подрумяненным печеньем.

Пока девочке не исполнился год, Амедео все не мог поверить, что она не умрет, но к следующей зиме даже он признал это.

Жизнь возвращалась в свою колею. И все же они были потрясены – и он, и Пина. За те месяцы, что их дочь оставалась между жизнью и смертью, что-то в них обоих изменилось. Теперь самая обычная песня могла вызвать у Пины слезы на глазах, да и Амедео обрел чувствительность, которую едва удерживал в себе, как будто треснул или размяк панцирь, защищавший его прежде. Однажды ночью Пина сказала, что простила его за связь с Кармелой и что сама она выгорела окончательно.

– У нас больше не будет детей, – сказала она, поглаживая его руку в темноте. – Я не думаю, что смогу еще раз пережить такое.

Амедео был с ней согласен. Четверых детей вполне достаточно, особенно когда трое мальчишек все время воют друг с другом, а дочка нуждается в специальном уходе. Хотя она и выросла шумной и крепкой, за ней все равно тянулся этот шлейф чуда, ощущение, что ее жизнь – счастливый билет, благословение святой.

II

В день рождения каждого из своих детей Амедео делал снимок. По фотографиям дочери он наглядно мог видеть ту борьбу, что вела девочка, обладавшая душой столь же страстной, как и у ее матери, с выкрутасами судьбы. На первом снимке Мария-Грация сидит на коленях у Пины, ножки ее явно кривоваты. На втором снимке – только посмотрите! – она стоит, крепко держа за руки родителей, вдохновленная их гордостью за нее. К третьему снимку она уже научилась стоять самостоятельно. На ногах ботинки, к которым прикреплены металлические ортезы, наверху они заканчиваются кожаными ремнями. Из-за ортезов поза у нее странная – точно борец на ринге. Врачи из сиракузской больницы сказали, что ребенок должен носить их ежедневно до десяти лет. Каждую осень их надо подгонять.

На ночь нужно было надевать ортезы другой конструкции, которые более жестко крепили ступни к металлическим стойкам. Эти последние ей предстояло терпеть до одиннадцати или двенадцати лет, а может, и дольше, и каждый год их заменяли еще более жесткими. Мария-Грация ни разу не заплакала, когда надевали ночные корсеты, хоть порой и закрывала глаза. В этих ножных корсетах она не могла даже повернуться, и если ей надо было в туалет, приходилось звать мать или отца, чтобы ее отнесли. Иногда в своей спальне внизу они не слышали, как дочь их зовет. И утром девочка лежала на мокрых простынях, стойко перенося насмешки братьев. Но никогда не жаловалась на это унижение.

На четвертом снимке Мария-Грация стояла в своей борцовской позе на берегу моря. При взгляде на эту карточку у Амедео начинало щемить сердце, он-то знал, что в этот момент ее братья резвились в волнах. В ортезах купаться было нельзя, они ржавели даже от влажности, разлитой в воздухе, приходилось чистить их наждачной бумагой и натирать оливковым маслом.

Пятый снимок был самый любимый. В этом возрасте Мария-Грация, несмотря на все трудности, уже начала брать верх над братьями: если они едва справлялись с учебой, то она выказывала невероятную смывленность. На снимке Мария-Грация была погружена в изучение школьного учебника, ее глаза цвета бледного опала с крапинками, как у Пины, обрамленные пушистыми ресницами, явно скользили по странице. Поглощенная, она счастливо улыбалась. Была ли это история, математика или «Илиада» с картинками – кто знает?

Сначала учитель, профессор Каллейя, отказался принимать Марию-Грацию в школу, полагая, что слабость ее ног означает и слабость ума. Получив письмо с отказом принять дочь, Пина взяла Марию-Грацию за руку и потащила в школу. Полдороги ей пришлось нести девочку на руках. Мария-Грация встала у доски, а изумленный профессор Каллейя стоял в углу, покручивая кончики усов. По команде Пины Мария-Грация показала, как она умеет считать до ста, складывать, вычитать, умножать, она читала стихи Луиджи Пиранделло и описала все созвездия, которые находились над Кастелламаре, – все это она выучила самостоятельно. Но профессор Каллейя был непреклонен. Тогда Пина выхватила из стопки книг на его столе «Божественную комедию» и сунула ее дочери.

– Читай, *cara*, – велела она. – Читай!

И пятилетняя Мария-Грация, слегка запинаясь на особенно заковыристых словах, смысла которых она еще не постигла, и преодолевая поэтическую затейливость Данте, принялась читать: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Каков он был, о, как произнесу...»²⁶

– Очень хорошо, – оборвал профессор Каллейя, не желая показаться побежденным. – Она может начать посещать школу с осени. Будет хорошо успевать – останется, в противном случае – нет.

²⁶ Перевод М. Лозинского.

Хоть и без энтузиазма, но он даже согласился одолжить «Божественную комедию», чтобы маленькая Мария-Грация могла прочитать ее до начала учебного года.

Пина несла свою дочь домой на плечах, слезы гнева и гордости блеснули на ее щеках.

Шестой снимок был сделан перед учебным годом. Для Марии-Грации это событие стало куда важнее, чем день рождения или именины. Весь вечер накануне девочка тряслась от страха. На снимке она в белом школьном *grembiule*²⁷, который прикрывал ее ортезы, в руках связка новеньких учебников. Ее братьям учебники переходили по наследству, и, по правде говоря, они настолько редко их открывали, что экономия была вполне оправданна. Но для Марии-Грации новые книги были заказаны в книжном магазине в Сиракузе и, упакованные в крафтовую бумагу, доставлены на лодке Пьерино.

Братья на свой лад выказывали любовь. Они затаскивали ее в свои шумные игры, защищали от детей, которые дразнили ее из-за железок на ногах и отнимали учебники. Но уже в детстве между ними была дистанция, которая только увеличивалась. У мальчиков имелись свои интересы. Туллио, великан, как его отец, с такой же копной черных волос и густыми бровями, испытывал всепоглощающую страсть к изучению устройства автомобилей. Аурелио, самый близкий ей по возрасту, серьезный крепыш, все время пропадал на море и плавал как заведенный. Средний брат, Флавио, смуглый и резкий, похожий на Пину, запирался в своей комнате и часами играл на трубе. Мальчики сознавали, что Мария-Грация – любимица родителей, а Мария-Грация понимала, что ни любовь, ни учеба не изменят ее отличия от братьев. Пока другие дети бесились, колотили палками по чему ни попадя и купались в море, она сидела на берегу со скованными ортезами ногами и читала про звезды.

– Твое лечение идет успешно, – утешал ее отец в такие моменты. – На будущий год ты сможешь ненадолго снимать ортезы и загорать.

Мария-Грация знала, что к тому времени другие дети научатся плавать быстрее или им вообще надоест прыгать в воде. Но она молчала.

Озабоченный одиночеством дочери, отец поощрял ее общение с пожилыми посетителями бара и интерес к бездомным кошкам, которые забредали во двор. Однажды Мария-Грация приковыляла в бар вся в слезах и потащила отца к кошачьему логову. Там он увидел несчастного черного котенка, шерсть у него свалилась, он жалостно мяукал.

– Он болен, – плакала Мария-Грация.

Наклонившись, Амедео увидел на боку у котенка воспаленную рану.

– У него инфекция, *cara*. Чтобы помочь ему, надо очистить рану, если он не сбежит, пока мы будем ее обрабатывать.

– Вылечи его, папа.

Большая часть стариков из бара последовала за ними во двор. Они столпились вокруг, охали да ахали – даже те, кто не отличался любовью к кошкам.

– Вылечи его, – молила Мария-Грация. – Возьми свой саквояж и вылечи его, папа.

– Ну, я не знаю, *cara*.

– Вылечи его, – вторили собравшиеся с упреком.

Кошка-мамаша наблюдала из кустов, и хвост ее воинственно подергивался.

Амедео позволил дочери убедить себя и принес саквояж.

– Вылечи его, – шептала Мария-Грация, пока Амедео возился с раной. – Не дай ему умереть.

Амедео закончил и перенес котенка в логово. После чего, коготь за когтем, отодрал кошачью мамашу от своего плеча.

²⁷ Фартук (*um.*).

Пылкая благодарность дочери не ведала границ. Три недели спустя она принесла котенка и показала зарубцевавшуюся рану. Увидев, как котенок преданно лижет ей руки, Амедео чуть не разрыдался.

– Лечение его протекает успешно, – сказала она. – Как и мое.

Это было правдой. Мария-Грация хотя и оставалась невысокого росточка, но во всех других отношениях, не считая ортезов, не было никаких признаков того, что некогда родители боялись за ее жизнь.

Теперь, когда Амедео беспокоился не за жизнь Марии-Грации, а за ее будущее, он начал замечать перемены, происходящие вокруг. И в лучшие времена до острова долетали лишь отголоски мировых новостей. Некоторое время темой для обсуждения в баре были финансовые проблемы в Америке, пожилые картежники дивились на фотографии богатых семей, которые вынуждены были переселиться в свои автомобили и ночевать под брезентом. («Только посмотрите, *americani* живут прямо как наши бедняки! Как будто мой 'Нчирино и не уезжал в Чикаго!») Изолированность острова уберегла его жителей от многих бед. Не считая сигарет, которые время от времени заказывались на материке, жители Кастелламаре не были связаны с мировой экономикой. Как сказал Риццу, если бы началась депрессия, то на острове все равно нет машин, чтобы в них ночевать, кроме машины *il conte*, да на них и ездить-то некуда. И единственными предприятиями, долями в которых владели жители острова, оставались Комитет святой Агаты и Гильдия рыбаков.

Однако теперь поблизости от острова произошел сдвиг тектонического масштаба. За время беспокойного детства его отпрысков изменения, что случились в Италии, почти не достигали Амедео. Как и отдаленный звук прибоя у пещер, внешний мир никогда не казался ему важнее мира, ограниченного стенами его дома. В год, когда родился Флавио, был какой-то спор по поводу голосования, но первенец Туллио чем-то отравился, и голосовать Амедео отправился, когда участок уже закрылся. Слушая на следующий день ожесточенные дебаты в баре, он понял суть конфликта. На острове никто не собирался голосовать за *fascisti*²⁸, кроме *il conte* и, возможно, Арканджело, потому, чтобы предотвратить это, в день голосования *il conte* поставил двух вооруженных палками штурмовиков у входа в ратушу. Таким образом крестьянам однозначно давали понять, что остров – это корабль, с которого *il conte* может изгнать любого мятежника. И когда наступил момент и *il conte* сосчитал голоса, оказалось, что *fascisti* получили большинство.

Вскоре после этого газета *La Stampa*, которая приходила к ним из самого Турина, подробно написала об убийстве депутата-социалиста синьора Маттеотти²⁹, и потом эту газету стало невозможно заказать. Когда газета вернулась в продажу, в ней больше ничего не говорилось о Маттеотти. Поначалу Амедео не придавал этому большого значения, потому что его клиенты в основном интересовались *La Gazzetta dello Sport*.

Он все это, разумеется, помнил. Помнил, что уже какое-то время те, кто голосовал за *fascisti*, и те, кто голосовал против, друг с другом не разговаривали, из-за чего Фестиваль святой Агаты в тот год прошел скомканно. Когда пришло время выбирать мэра, жители города проголосовали не за *il conte* и не за Арканджело, а за то, чтобы выдвинуть еще одного кандидата, – событие, неслыханное на Кастелламаре. Затем, некоторое время спустя, городской совет все равно был распущен приказом *il duce* из Рима. Теперь не должно было быть ни мэра, ни выборных представителей, только *podesta*³⁰, что делало противостояние между *fascisti* и остальными

²⁸ Фашисты (*ит.*).

²⁹ Джакомо Маттеотти (1885–1924) – депутат парламента Италии, 30 мая 1924 г., сразу после выборов, он выступил с разоблачением избирательных махинаций фашистской партии и потребовал аннулировать мандаты фашистских депутатов. 10 июня 1924 г. был похищен и убит фашистами.

³⁰ Наместник (*ит.*).

жителями острова несущественным. Как им объявил новый *podesta*, он же *il conte*, в своем первом обращении на ступенях ратуши, они все теперь были *fascisti*.

Возник некий подспудный протест. Небольшая группа в середине ночи, разогретая напитками из бара Амедео, сорвала новый фашистский флаг и портрет с лысой головой *il duce*, висевшие над входом в ратушу. Бепе, юный племянник Риццу, и рыбак Пьерино, который во время войны узнал кое-что о коммунизме, начинали распевать «Интернационал», когда мимо проходил синьор Арканджело (перед графом они не смели на это решиться). Потом как-то ночью этих двух *comunisti* схватили по дороге домой двое штурмовиков *il conte*, задали им взбучку и заставили выпить пинту касторки. И никто уже не выражал недовольства тем, что они стали *fascisti*, – по крайней мере, открыто. Потому что, как сказала Джезуина, «нам всем надо будет как-то продолжать жить вместе».

– Это все северные штучки, – бушевал Риццу за стойкой в баре. (Он все еще работал у *il conte* то ночным сторожем, то носильщиком, но терпение его по отношению к работодателю было на исходе, особенно после нападения на Бепе.) – До сих пор никто на Каstellамаре не интересовался политикой. Это все итальянские дела, не наши.

– Надо потерпеть год-два, – говорила Джезуина. – Если уж нам на нашем несчастном роду написано, что нами должны управлять чужаки, то пусть хоть этот дуче, хоть испанцы, или греки, или Бурбоны, или арабы, или чья там очередь нами управлять. Нам не стоит обращать на него внимания, надо заниматься своими делами.

Следуя этой логике, оба старика смирились с новой ситуацией, и в «Доме на краю ночи» снова на время воцарился мир.

Потом, вскоре после того как Мария-Грация пошла в школу, *il duce* вновь навязал Каstellамаре свою волю.

Как-то днем в бар пришла новость, что на остров на моторной лодке прибыли двое чиновников и потребовали разговора с *il conte* по поводу тюрьмы. Но тюрьма предназначалась не для жителей острова (на Каstellамаре никогда не было совершено ни одного серьезного преступления), а для людей, объявленных *il duce* преступниками. Обычно он ссылал своих преступников на отдаленные острова, объяснили чиновники, вроде западного острова-бабочки Фавиньяна и курящихся вулканов Липари. Каstellамаре также был избран местом для ссылки.

Чиновников поселили в гостевом крыле на вилле графа. Каждый вечер они шумно пьянствовали на террасе, через три дня уехали, и про тюрьму больше ничего не было слышно. Три месяца спустя с Сицилии на моторной лодке привезли рабочих, и они начали восстанавливать разрушенные дома, находившиеся за пределами города, используя камни и брезент («Эту работу должны были делать наши люди!» – возмущался Риццу). Тюрьму планировали открыть в конце лета. Восемь фашистских штурмовиков, два *carabinieri* и лейтенант будут охранять преступников на острове, а пока для них сняли несколько пустовавших домиков, принадлежавших *il conte*, по специальной цене со скидкой.

– Всю жизнь обходились без этих *poliziotti*! – разорялась Джезуина, которая теперь была решительно против нового порядка. – Охрана! Оплеухи или разговора по душам с бабкой парню, если чего натворил, всегда хватало. А вдруг они будут следить за мной, когда я хожу по городу? Как знать-то мне с моими слепыми глазами?

В то лето на сером корабле из Калабрии прибыли первые политические ссыльные с заросшими лицами, страшно напугавшими детишек. Они были скованы друг с другом цепью, и им приходилось шагать в ногу. Поднимаясь на холм от порта, они растянулись длинной вереницей и напоминали гусеницу на ветке бугенвиллей. Двое, замыкавшие цепочку, прибыли с семьями. Ссыльных поселили в полуотремонтированных домах, и теперь каждый вечер в пять часов пополудни раздавался горн, призывавший ссыльных в их жилища, где они должны были оставаться взаперти до утра. *Il conte* недвусмысленно дал понять своим арендаторам и крестьянам, что приближаться к арестантам и разговаривать с ними нельзя.

Увидев, как ссыльные, закованные в цепи, поднимаются на холм, Пина в гневе сжала губы. За закрытыми дверями она возмущалась *il duce*, его тюремным лагерем, его воинственной риторикой в газетах и присутствием его тюремщиков на Каstellамаре. И когда Туллио и Флавио, им уже было девять и восемь лет, явились домой в черных шортах с игрушечными ружьями (самыми чудесными игрушками, которые они держали в руках за всю жизнь), она отвела их к дому профессора Каллейи и вышвырнула оба ружья в кухонное окно.

– Как это называется? – кричала она.

– Это называется «Опера Национале Балилла»³¹, – попытался объяснить профессор Каллейи, прикрываясь руками от летевших в него снарядов. – Это молодежная организация – спортивная, – всем детям рекомендуется в нее вступать и становиться *Balillas*, не только вашим детям, синьора Эспозито. Это как католические скауты.

– В моем доме не будет никаких *Balillas*! – бушевала Пина, игнорируя завывания сыновей по поводу утраты игрушечных ружей. – В моем доме не будет никакого оружия! Разве последняя война не достаточно отняла у этого острова? Если мои сыновья захотят присоединиться к католическим скаутам отца Игнацио, они могут к ним присоединиться!

Фашистские охранники теперь постоянно присутствовали на острове, патрулируя на своей моторке группу скал, которую местные рыбаки называли Мorte делле Барке, они выставляли пикеты на улицах и рыскали по городу, так что открыто мало где можно было высказываться. И частенько заходили в бар купить сигарет или выпить крепкого черного кофе. Амедео старался не высовываться, но время от времени предлагал ссыльным то рисовый шарик, то ломтик моцареллы.

Но когда Пина увидела несчастного ссыльного, который плелся по улице (Пина слышала, что им выдавали на прожитие по пять лир в день – меньше, чем самым низкооплачиваемым из крестьян *il conte*), она пригласила его в бар и, усадив за лучший столик, накормила хлебом и печеньем с кофе.

Ссыльным разрешалось работать, но работы на острове всегда хватало только для своих, не больше. И все-таки Пина наняла троих из них отремонтировать террасу. Рыбак Пьерино насупил брови, когда увидел чужаков за работой.

– Мне это не нравится, – сказал он. – Это все равно как если бы ты наняла *il conte* или директора школы – одного из тех умников, что не отличат кровельную балку от дверной перемычки, если она оторвется и упадет им на голову.

– У себя дома эти ссыльные считались образованными людьми, Пьерино, – ответила Пина. – Один из них журналист из Триеста, второй, профессор Винчо, читал лекции на факультете археологии в университете Болоньи, а третий, Марио Ваццо, – поэт, опубликовавший несколько книг.

– Это все объясняет, – сказал Пьерино и предложил в качестве любезности переделать террасу бесплатно.

Амедео не нравилось, что поведение Пины привлекает к их дому нежелательное внимание. Но раз уж она что-то втемятила себе в голову, то возражать бессмысленно. Поэтому он снова ушел в заботы о детях, уповая на то, что эта буря заденет остров лишь первыми грозными каплями и двинется дальше, где и разразится в полную силу. Занимаясь мальчишками, Амедео легко избегал соприкосновения с окружающей действительностью. В последних классах школы приходилось постоянно перенаправлять их энергию с охоты на ящериц в зарослях кустарников и футбола на городской площади на учебу. Родители постоянно изводили их математикой, историей, географией и французским, заставляли читать классику. Что же касается

³¹ Балилла (*Opera Nazionale Balilla*, ONB) – фашистская молодежная организация, существовавшая с 1926 по 1937 г. Название происходит от прозвища Джована Баттисты Перрассо, мальчика, который в 1746 г. бросил камень в австрийского солдата и этим начал восстание против австрийских войск, оккупировавших город. На генуэзском диалекте баллила – маленький мальчик.

дочери – самой перспективной из детей, – то она, передвигаясь на своих негнувшихся ногах, сама вечно сыпала вопросами в своей неизбыточной жажде знаний: «Папа, почему ящерицы прячутся в уличных фонарях? Из-за чего бывают морские приливы и отливы? Почему у Джезуины на подбородке растут волосы, как на артишоке?» Каждый вечер она должна была делать зарядку и надевать свои ночные ортезы. Прохладными вечерами Амедео брал дочь на неспешные прогулки вдоль городской стены до смотровой площадки, там она, сидя на парапете, показывала ему созвездия. В классе Мария-Грация была лучшей и, к неудовольствию профессора Каллейи, изрядно опережала всех соучеников – даже при том, что *il professore* упорно занижал ей отметки (чтобы девочка не возомнила о себе слишком много).

– Тебе непременно надо поступать в университет, – говорила Пина дочери. – Ты должна получить образование, стать ученым или поэтом.

То же она внушала и сыновьям, но с куда меньшей убежденностью. Для демонстрации преимуществ высшего образования Пина показывала им на картинках городские площади с киосками мороженого и реки городских огней. Но мальчики совершенно не интересовались университетом, их стихией были морские волны, заросли кустарников, футбол на площади, и уж точно ни один из них не согласился бы дать запереть себя в классе. Мария-Грация, наоборот, испытывала перед книгами благоговейный трепет – какой рыбаки испытывают перед морем. Родители в душе ликовали, что им удалось воспитать хоть одного умного ребенка.

Лишь в последующие годы Амедео осознал, что проблема умного ребенка в том, что, наблюдая и понимая происходящее, он не желает закрывать глаза на увиденное – в точности как Пина. Как и Пину, Марию-Грацию невозможно было заставить смотреть и не видеть.

III

В лето, когда ей уже исполнилось восемь лет, Мария-Грация стала свидетелем пяти событий, которые повлияли на всю ее дальнейшую жизнь. Эти пять событий казались ей впоследствии настолько важными, что до самой смерти она видела их словно под увеличительным стеклом, словно сквозь чистую прозрачную воду, – это были самые яркие картинки из ее детства. И первое произошло в тот день, когда она стала свидетелем скандала из-за очередных выборов.

Возвращаясь домой по пыльной дороге, Мария-Грация смаковала предвкушение первого этим летом купания. Предыдущим летом отец наконец-то научил ее плавать. Ощувив легкость и свободу, которую вдруг обрели ее ноги, Мария-Грация закричала от радости. Но, научившись плавать, она прониклась отвращением к суше, по которой передвигалась с таким трудом. Отныне ей казалось, что она родилась в чуждой стихии – как русалочка из папиной сказки. Ноги на суше наливались вязкой тяжестью, а в море, напротив, они обращались в истинные плавники.

Она тащила домой из школы вслед за тремя братьями, с трудом переставляя ноги. У нее случались дни, когда колени сгибались с особым напряжением, а икры под ортезами работали с огромным трудом, как будто к ним привязали гири. Почему она не родилась каким-нибудь морским существом?

На середине пути мальчишки убежали вперед, оставив ее одну. Они летели, бурно радуясь освобождению от «этого *stronzo* профессора Каллейи», как именовал его Флавио. Братья вечно носились наперегонки, по чему-нибудь колотили и орали. Сейчас они устремились к ферме Риццу. В рождественские каникулы они вместе с тремя младшими Риццу придумали игру, которую называли *nemici politici*³², наполнявшую их веселым азартом. Игра состояла в том, что участники разбивались на две группы, *fascisti* и *comunisti*. *Fascisti*, вооруженные палками и пустыми канистрами, гонялись по всему острову за своими политическими врагами, *comunisti*, угрожая в самых страшных ругательных выражениях отдубасить палками и напоить касторкой. Бурная игра порой перерастала в настоящую драку – впрочем, как и все излюбленные игры мальчишек, подчас заканчивавшиеся фингалами и разбитыми коленками. Отцу приходилось доставать медицинские инструменты из ящика от кампари и врачевать сыновей. В этих случаях мама очень сердилась и начинала докапываться до причин драки. А Мария-Грация брала своего кота Мичетто и уходила во двор, пока страсти не улягутся.

Девочка продолжила свой нелегкий путь и подошла к террасе «Дома на краю ночи», как раз когда на колокольне закончили звонить «Аве Мария». Держась за побеги бугенвиллей, вскарабкалась по ступенькам, однако наверху остановилась, услышав мяуканье Мичетто.

Кот обнаружился в густой тени от плюща. Преодолевая боль, Мария-Грация опустилась на колени.

– Иди сюда, Мичетто. Кис-кис-кис, котенок. Мичетто, Мичеттино!

Кот был сильно напуган, хвост у него торчал трубой.

– Ну же, Мичетто, – шептала она, взяв свое сокровище на руки, – успокойся, маленький мой.

«Наверное, какая-нибудь старая ведьма опять пнула его», – подумала Мария-Грация с раздражением.

– Я же велела родителям держать тебя во дворе, – шептала она в шерстку Мичетто. – Тебе опасно заходить в бар.

³² Здесь: политические драки (*ит.*).

Но кот давно освоил приемы профессионального взломщика. Вскарabкавшись по кованой задней калитке, он добирался до защелки и отодвигал ее лапой, таким образом получая доступ на кухню, где и угощался от души холодной курятиной. Однажды ночью он пробрался в бар и пировал там, пока не раздулся и не заснул прямо внутри витрины на тарелке с салями. Он был бесстрашен, как и ее братья: проникал в дома кошачьих ненавистников, где ему доставалось – мухобойками и швабрами, вечно выскакивал на дорогу, так и норовя угодить под колеса авто *il conte*. Мария-Грация покрепче прижала кота к себе.

На площади было тихо. Автомобиль *il conte* стоял под одинокой пальмой и потрескивал от жары. Единственной живой душой на площади был ссыльный, который бродил около дома Дезуины. Туллио видел однажды, как двое ссыльных подбирали окурки, сдували с них пыль и клали в карманы. Братья нашли это забавным, но Марии-Грации было не смешно, она сочла это ужасным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.